

# Мис Марья Метлицкая

— Рассказы разных лет —



Донять,  
простить

Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет

Мария Метлицкая  
**Понять, простить**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Метлицкая М.**

Понять, простить / М. Метлицкая — «Эксмо»,  
2020 — (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)

ISBN 978-5-699-87724-9

Жить с камнем за пазухой очень трудно. Груз обиды, несправедливости давит, не дает дышать. А если это обида на близких – трудно вдвойне. Но простить еще труднее. Да и как простить измену, предательство, обман? Неужели можно забыть унижение, бессонные ночи, страдания? Говорят, умение прощать – дар, и дается он немногим. А надо ли вообще прощать? И правду ли говорят, что понять – значит простить? Каждый из героев этой книги решает этот нелегкий вопрос по-своему.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-87724-9

© Метлицкая М., 2020  
© Эксмо, 2020

## Содержание

Понять, простить	6
Умная женщина Зоя Николаевна	21
Долгосрочная аренда	27
Алик	35
Жить, чтобы жить	51
Прощение	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# **Мария Метлицкая**

## **Понять, простить**

© Метлицкая М., 2016

© Оформление. ООО Издательство «Э», 2016

## Понять, простить

Шура помнила эту сцену очень отчетливо: конец декабря, совсем скоро самый любимый Шуриный праздник – Новый год. Мягкий морозец и редкий медленный снег, танцующий под неярким светом фонаря. Они идут с мамой на каток, точнее, в «секцию» – как говорит любимая Асенька, Шурина бабушка. Шура – в коричневой старой и тесноватой цигейковой шубе, переделанной в курточку, и вязаных рейтузах. Через плечо, на шнурках, связанных между собой, перекинуты ботинки с фигурными коньками. Фигурное катание Шура обожает, а вот ботинки ненавидит. Они черные, мальчишковые, доставшиеся Шуру по наследству. Конечно, она мечтает о белых, из блестящей и мягкой на ощупь, волшебной кожи, с хромированными крючками, настоящих, чешского производства. Но мама говорит, что это дорого и не по карману. Да и вообще, надо еще посмотреть, какая из Шуры фигуристка. «Может, от слова „фигу“?» – спрашивает мама и залиvisto смеется. Шура слегка обижается, но мама ее целует и просит не дуться.

Сегодня мама почему-то сопровождает Шуру, хотя идти до катка от дома всего каких-нибудь пять минут, мимо детского магазина «Смена». Каток – во дворе красного кирпичного дома у метро. Дом в народе называется генеральским. Там и вправду живут военные, да еще «в чинах». Шура видит, как из подъезда выходят толстые важные дяденьки в длинных шинелях и их не менее важные жены – тоже крупные, в богатых каракулевых шубах.

Перед выходом Асенька кричит Шуру вслед:

– Держи крепче мать! Скользко!

Шура отвечает:

– Ага! – И на улице хватает маму за локоть.

Мама «в ожидании» – это выражение бабушки Аси. Она вообще, как говорит папа, любит разные «старорежимные» фразочки. У мамы большой живот. Просто огромный. Через месяц ей рожать. Мама любит пошутить и на вопрос «кого ждете?» отвечает «автобус». И при этом залиvisto смеется. Шура держит маму за локоть и заботливо на нее смотрит.

– Гляди под ноги, – советует мама. А Шуру нравится смотреть на нее.

Мама очень хорошенькая. Ну просто красавица. Как бы Шура хотела быть на нее похожей! У мамы большие карие глаза, густейшие волнистые темные волосы и «самый очаровательный курносый нос на свете». Так говорит папа. А на носу – редкие конопушки. Мама очень огорчается, когда с первым весенним солнышком их прибавляется, и начинает их пересчитывать. А папа смеется и чмокает маму прямо в курносый нос. Ему нравится в маме все, это видно без всяких слов. И Шура смущается и отводит глаза, когда видит, как в коридоре или на кухне отец украдкой обнимает маму и крепко прижимает ее к себе. Шура мышью шмыгает к себе в комнату и слышит, как мама вырывается и тихо говорит папе:

– Ну, хватит, Митя, отстань! Сколько можно, ей-богу!

Шуре почему-то становится обидно за отца, и она злится на маму. А вообще у них самая счастливая семья – в этом Шура совершенно уверена.

Шурино папу зовут Дмитрий Владимирович. Он – хирург в военном госпитале, заведующий отделением и подполковник. Отделение называется «торакальная хирургия». Папа написал по этой теме не одну статью и даже главу в пособии для студентов. Говорят, что он лучший специалист в городе. А это совсем не шутки. Рабочий день у него ненормированный, и редко бывает выходной. Папу могут вызвать на работу даже среди ночи – если кому-то вдруг понадобится срочная операция.

Асенька говорит, что еще он «человек кристальной честности», за консультации и операции не берет не то что денег, но и даже презентов в виде коньяка или конфет. Поэтому и живут они скромно, на одну папину зарплату. Тем более что мама сейчас в декрете. Асенька

целый день хлопочет на кухне – варит, жарит и печет. Экономит. Папа очень любит поесть, он говорит, что это его единственная, из простительных, слабость. А мама злится на папу за то, что он не требует у своего начальства большую квартиру – они живут в крошечной двухкомнатной, а ведь скоро их будет пятеро. Папа все отмахивается и говорит – потом. А мама с вызовом спрашивает: «Потом – это когда?»

Наверное, мама тоже хочет жить в генеральском доме. И носить каракулевую шубу с большим воротником. Но папа еще не генерал, а всего-навсего подполковник, так что жить им в генеральском доме пока не положено. Это Шура объясняет непонятливой маме – так она заступает за отца. Но мама фыркает («Отстань!») и, вздохнув, добавляет:

– Много ты понимаешь!

Шура вздыхает и бросает взгляд на свои коньки.

В раздевалке она туго шнурует ботинки, чтобы не болталась нога, и вылетает на лед. Как ей нравится скользить по ровному, блестящему и гладкому льду! Делать «ласточку», и «пистолетик», и «дорожку». И просто кружиться под музыку!

Мама стоит у бортика и машет Шуре рукой. Потом Шура видит возле мамы высокого мужчину в длинном черном пальто. И еще она видит, как оба они неотрывно смотрят на Шурины «пируэты» и о чем-то оживленно разговаривают. Тут Шура отвлекается на Ладку Самсонову, точнее, на ее костюм. У Ладки, конечно, белые ботинки на крючках и еще вязаная белая юбочка с фестонами по краям, белая курточка из кролика и белый беретик, из-под которого выбиваются светлые Ладкины кудри. В общем, сказочная Снегурка, а не Ладка. Так выглядят по телевизору настоящие фигуристки. Правда, катается Ладка не ах. Тренер ее ругает, но все же Ладкой любитесь – это всем заметно. А вот у Шуры сегодня все получается очень хорошо. Она смотрит на маму, и мама поднимает кверху большой палец.

– Здрóрово!

Шура подъезжает к бортику и вопросительно смотрит на маму. Мамин собеседник улыбается ей и говорит:

– Здравствуй, Шура!

Шура ему отвечает и опять смотрит на маму. Мама говорит:

– Познакомься, Шура, это Андрей Васильевич. Мой старинный приятель.

Шура вежливо кивает.

Потом занятия кончаются, и Шура идет в раздевалку, где Ладка хвастается новым нарядом. Девочки обступают ее плотным кругом, не подходит только Шура – ей противно Ладкино хвастовство.

Шура выходит на улицу и видит, что мама все еще стоит со своим приятелем. Они направляются к дому, и мама объясняет, что Андрей Васильевич пойдет их провожать. Шура удивляется и пожимает плечами. Мама и ее спутник идут чуть впереди, и теперь он держит маму за локоть.

У магазина «Смена» они останавливаются и шепотом о чем-то горячо спорят. Шура стоит в стороне и рассматривает витрину. Потом Андрей Васильевич говорит:

– А пойдём, Шура, заглянем в «Детский мир»? Может, найдем там что-нибудь интересное!

Шура теряется и опять смотрит на маму. Мама машет рукой: иди!

И они идут в магазин. Мама остается ждать их на улице.

В магазине полно народу – это как всегда. Народ снует между прилавками и кассой. Шура немного теряется, а Андрей Васильевич спрашивает, чего ей хочется. Шура смущенно молчит. Тогда он берет ее за руку, и они идут к отделу спорттоваров. Сквозь плотную толпу они наконец пробираются к прилавку. И тут Шура замирает: на полке она видит белые фигурные ботинки. Мягкие даже на вид. С блестящими крючками. У нее начинает учащенно биться сердце, и, осмелев, она кивает: эти!

– Ну вот и славно! – говорит Андрей Васильевич. – То, о чем человек мечтает, обязательно должно исполняться!

Он просит Шуру померить ботинки и даже немного в них пройтись.

– Не жмут? – заботливо спрашивает он.

Шура мотает головой. Потом он долго беседует с продавщицей, и вдобавок к ботинкам та выписывает еще и лезвия, и красивые синие пластмассовые чехлы. Андрей Васильевич берет чек, и они идут в кассу – платить. Но Шурина радость все же омрачена: она боится, что мама расстроится и будет ее ругать. Они получают коробку с коньками и выходят на улицу.

– Дотацишь? – улыбается Андрей Васильевич. Вспотевшая от волнения Шура радостно кивает.

– Купили? – спрашивает мама, и Шура с облегчением видит, что она совсем не сердится.

Теперь Шура абсолютно счастлива. Она идет впереди и гордо несет в руках большую серую коробку. Андрей Васильевич провожает их до дома, и они опять о чем-то долго говорят с мамой. Шура стоит поодаль. Ей не терпится поскорее прийти домой, померить ботинки и показать их скорее Асеньке и папе. Хотя наверняка папы, как всегда, нет дома.

Потом Андрей Васильевич, почему-то вздыхая, говорит:

– Ну, что, давай, Шура, прощаться.

Он протягивает ей руку и смотрит на нее долгим, внимательным и почему-то очень грустным взглядом.

– Прощайся, Шура. – Мама тоже грустно вздыхает. Андрей Васильевич присаживается перед Шурой на корточки, поправляет ей шапку, внимательно на нее смотрит и говорит ей странные слова, которые она почему-то запоминает на всю жизнь:

– Будь здорова, девочка, и будь счастлива. Очень тебя прошу! – И добавляет: – Все твои рекорды еще впереди.

Шура смущается и кивает. Они наконец идут к подъезду, и Шура почему-то оборачивается. Она видит, как Андрей Васильевич пристально смотрит им вслед, кричит ему «Спасибо!» и машет рукой.

Асенька не очень удивляется подарку и почему-то качает головой. Шура на Асеньку даже обижается – та не поделила с ней радость. И еще она, кажется, ругается с мамой: Шура слышит, что мама раздражена и говорит Асеньке, чтобы та оставила ее в покое.

Папе удастся показать коньки только на следующий день – он, как всегда, приходит домой поздно, когда Шура уже, конечно, спит. Вот папа очень за Шуру рад, и это видно. Только почему-то и он вздыхает и грустно на нее смотрит.

А Шура продолжает мечтать. Она представляет, что снимет нелепую шубу и рейтузы, наденет голубую весеннюю куртку и колготки – у нее есть пара эластичных, выходных, – закрутит на голове плотную, тугую баранку – и плавно заскользит по гладкому льду. И будет она похожа на прекрасную Людмилу Белоусову, лучшую фигуристку на всем земном шаре, и никакая Ладка с ней не сравнится.

Скоро Новый год, все начинают готовиться к празднику. Папа приносит живую елку – огромную, под самый потолок – и достает с антресолей ящик с елочными игрушками. Шура разбирает эти игрушки. Больше всего ей нравятся стеклянные фигурки – лыжница, Снегурочка и Дед Мороз. Шура очень осторожна: игрушки – еще из бабулиного детства, и не дай бог их разбить.

Асенька печет пироги и варит холодец. По всему дому разносятся восхитительные запахи свежей сдобы, лаврового листа и крепкого мясного бульона. Папа раскладывает стол и застилает его нарядной белой скатертью. Мама протирает салфеткой парадные бокалы. В доме пахнет радостью и праздником. А Шура мечтает только об одном: чтобы скорее закончились праздники и она пошла бы с мамой на каток – ей не терпится надеть новые коньки.

Но после праздников маму увозят в роддом – и через два дня она рождает сестричку Катеньку. Из роддома ее встречают папа и Шура – бабуля готовится к приему нового члена семьи: варит обед, делает влажную уборку и проглаживает пеленки. Мама очень бледная и еле держится на ногах. Она целует Шуру и говорит, что роды были крайне тяжелыми. Дома она сразу ложится в постель, и все начинают хлопотать возле Катеньки: кладут ее на обеденный стол, предварительно постелив на него старое детское Шурино одеяльце, разворачивают тугой маленький сверток.

– Какой чудесный младенец! – говорит Асенька.

Шура с ней абсолютно согласна. Катенька – красавица. У нее карие глазки и бровки «домиком», как у мамы, и густые, совсем не младенческие, темные кудри. И еще гладкие атласные пяточки и умильные крохотные пальчики на руках.

– Очень ладная девочка! – говорит Асенька.

А у папы не сходит с лица счастливая улыбка. Мама лежит в кровати и тоже счастливо улыбается. Счастливы все – это очевидно. Но Шура кажется, что самая счастливая – точно она. Катеньку она любит больше всех. Страшно признаться, но ей кажется, даже больше мамы.

Катенька не кричит, спит ночами и ест по часам.

– Чудо-ребенок, – говорит мама. – Не то что ты, Шурка, орала по поводу и без.

Шура слегка обижается, а бабуля цыкает на маму и стучит пальцем по виску.

Папа теперь старается прийти с работы пораньше, бежит мыть руки и тоже торопится к Катеньке. Он целует ее крошечные бархатные ножки и перебирает отросшие нежные волосики. А Катенька смеется, открыв влажные перламутровые беззубые десны.

Теперь на каток Шура ходит с мамой и Катенькой, которая лежит в глубокой розовой с белой полосой коляске. После занятий все девчонки обступают коляску с Катенькой и, конечно, завидуют Шуре.

Так проходит остаток зимы и весна, а в мае папа снимает в Загорянке дачу. И как только заканчиваются занятия в школе, на большом крытом грузовике все переезжают туда. Папа приезжает на дачу в пятницу вечером, и мама с коляской и Шурой идут встречать его на станцию.

Это самое счастливое время для Шуры. Она скучает по папе, но знает, что он обязательно привезет ей новую книжку или куклу. И обязательно пирожные к чаю. И скорее всего, черешню в бумажном кульке, которую она так любит. Мама будет его ругать за то, что дорогие ягоды, как всегда, помялись. И еще папа обязательно купит Шуре вафельный стаканчик пломбира с желтой розочкой – самое вкусное на свете. Дома Шура торжественно вытащит из холодильника граненый стакан с земляникой, собранной ею собственноручно в лесу, на поляне, специально для папы. Почти полный стакан – ну, не хватает чуть-чуть, самую малость, Шура не удержалась и съела несколько ягод. Спать все лягут очень поздно, потому что будут пить на террасе чай и вести долгие семейные разговоры. У Шуры начнут слипаться глаза, и мама станет ее гнать в кровать, а папа разрешит посидеть еще немного. А в субботу они, скорее всего, пойдут на озеро, а вечером будут печь в золе картошку и, может быть, даже жарить шашлыки, если папа привезет подходящее мясо.

Но очень скоро пробежит-пролетит короткое и прекрасное лето и начнется московская жизнь. Тоже, между прочим, не самая плохая.

Школу Шура любит. Есть, конечно, противные учителя – например, трудяша и ботаничка. Но зато есть и другие – русичка Елена Петровна, сестра одного известного, очень известного поэта-фронтовика. Ах, какие она читала ребятам стихи! Или историчка Надежда Львовна. Ее рассказы о Древнем мире или Крестовых походах слушали открыв рот даже отпетые двоечники. А математичка Ида Давыдовна! Даже при всей нелюбви к математике на ее уроках Шуре никогда не было скучно.

Да и вообще, старая, темного кирпича, уютная школа, с густым, словно припорошенным весной снегом, яблоневым садом. Любимая классная руководительница Инна Ивановна. Теат-

ральный кружок по вечерам в пятницу. Походы в Третьяковку или в Пушкинский. Какао и пирожки с повидлом в школьном буфете. А вечера патриотической песни в актовом зале, где натерты до блеска полы и вкусно пахнет мастикой? А гулянье во дворе? А «классики», «казаки-разбойники» и «прятки»? И «секретки» из фантиков и цветной фольги, зарытые во дворе...

А еще можно сбегать к метро за фруктовым стаканчиком и поглазеть на цыганок в пестрых юбках, с младенчиками, замотанными в платки и привязанными сзади к материнской спине. Цыганок много, целая стая. Они громко галдят, ругаются между собой на своем языке и продают красные леденцы на палочках – петухов и медведей. Леденцы прозрачные, как стекло, и Шура мечтает их попробовать, но мама ей категорически это запрещает. К цыганкам подходит молодой безусый милиционер и пытается их разогнать, но они совсем не боятся и дружно кричат на него – все вместе.

К метро Шура бежит с Динкой и Розкой, двойняшками. Мама говорит, что они – «бедные девочки». Бедные потому, что очень некрасивые. Шура с мамой спорит и обижается за подружек, но в душе с мамой согласна – двойняшки и вправду совсем не симпатичные. А насчет «бедные» – это вообще смешно. Динка и Розка живут в генеральском доме в большой трехкомнатной квартире, где у них своя комната. Еще у них есть домработница Валя. Мать двойняшек, Белла Арнольдovна, не работает. Она расхаживает в шелковом халате, с кремом на лице и раздает указания Вале. Валя готовит, гладит, убирает квартиру и гуляет с собакой Кузькой. Что делает Белла Арнольдovна, Шура не понимает. Белла Арнольдovна ходит по квартире с телефоном и беседует день напролет. Ей делают массаж, педикюр и маникюр, косметичка и педикюрша ходят к ней на дом. В доме у них красиво и богато – это Шура понимает. На полах – ковры, на стенах – картины, на комодe – вазы.

Отец Динки и Розки – директор магазина «Диета», лучшего, между прочим, магазина в районе. В школьный буфет двойняшки не ходят, а едят на перемене восхитительные бутерброды с ветчиной и копченой колбасой. У Шуры от вида и запаха этих бутербродов кружится голова. Подруги предлагают Шуре половину, но Шура гордо отказывается и бежит в буфет за пирожками. Иногда Шура приходит в гости к сестрам, и девочки предлагают ей испечь печенье или пончики. Несмотря на огромную библиотеку, любимая книга сестер – «Книга о вкусной и здоровой пище», очень тяжелая, с цветными картинками. Девочки увлеченно ее листают и выбирают рецепты. Потом они приступают к делу, и по кухне летает мучная пыль. Печенье, как правило, не получается, и домработница Валя переживает, что они напрасно перевели продукты. Но Белла Арнольдovна девочек не ругает.

В классе случается страшное событие – умирает Лара Орлова. Узкий голубой гроб стоит во дворе Лариного дома на трех табуретках. Лара, худенькая и бледная, лежит в гробу, словно заснувшая принцесса. Снежинки медленно падают на ее спокойное лицо и не тают. Девочки держат друг друга за руки и боятся подойти к гробу поближе. Им и страшно, и интересно одновременно. Лару провожает весь класс и все учителя. Учителя плачут, а дети стоят в оцепенении – они еще не очень понимают, что такое смерть. Шура видит Ларину мать – ее с двух сторон держат под руки, но она все равно оседает на землю.

Потом девочки сидят в детской у двойняшек и обсуждают Ларины похороны. Валя тяжело вздыхает и говорит, что бог дал, бог и взял. Белла Арнольдovна кричит, что Валя темная и деревенская дура, прижимает к себе детей, плачет и выносит коробку шоколадного зефира. Обед отменяется. Белла спрашивает у Шуры про родителей и Катеньку и, закатывая глаза, говорит, что Шурин папа, такой специалист, мог бы жить как сыр в масле. Она трагически обводит взглядом свои ковры, мебель и хрусталь, вздыхая, прибавляет:

– Есть еще приличные люди на свете!

И непонятно, осуждает она этих самых приличных людей или восторгается ими.

Белла Арнольдovна опять тяжело вздыхает, просит Валу сварить кофе и отправляется в спальню отдыхать.

Шурина мама собирается выходить на работу. Эта тема обсуждается на семейном совете. Папа категорически против. Он считает, что мама должна сидеть дома и заниматься детьми. У мамы свои аргументы – она говорит, что на одну зарплату жить невозможно. Последнее слово, как всегда, остается за бабулей. Она твердо и сухо объявляет, что ни в какой детский сад она Катеньку не отдаст и готова с ней сидеть дома. Мама пытается сопротивляться, но довольно быстро соглашается. У мамы улучшается настроение, она достает из шкафа юбки и блузки, приводит их в порядок – подшивает, стирает и гладит. Расстраивается, потому что пополнила и ни во что не влезает. Папа смеется, говорит, что это знак свыше, и еще говорит маме, что она все равно – самая красивая. Шура с ним абсолютно согласна, а мама почему-то злится и плачет.

Мама идет работать в проектный институт чертежницей. Это очень удобно – институт находится прямо в их доме, только в другом крыле. И даже на обед мама прибегает домой. На маме узкая черная юбочка, голубая, «в огурцах», кофта, и от нее вкусно пахнет польскими духами «Быть может». Шура, кстати, иногда открывает узкий флакончик и капает себе на палец. Очень приятно и пахнет мамой.

По утрам у них сумасшедший дом. Мама, как всегда, опаздывает, носится по квартире, не успевает позавтракать, хватается из кровати сонную Катеньку, начинает ее целовать и почему-то опять шмыгает носом. Папа ждет ее у двери, смотрит на часы и нервничает. А потом хватается ее за руку, и они наконец уходят.

– Выкатились, слава богу! – вздыхает Асенька и кормит внушек завтраком.

В школе Динка и Розка налетают на Шуру и таинственно шепчут, что в «Детский мир» завезли потрясающие кофты. Вязаные, китайские, с вышитыми на груди розочками. Всех цветов – и белые, и розовые, и голубые, и салатовые. Сказка, а не кофты. Как говорит Белла Арнольдовна, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Кстати, она дочкам купила уже по две на каждую, понятно, разных цветов.

– Дорогие, наверно? – осторожно спрашивает Шура.

– А, ерунда, по двадцать рублей, – небрежно отвечает Динка.

«Ерунда!» – вздыхает про себя Шура. Ну, какая же это ерунда? Но после уроков девочки бегут в магазин. Шура замирает: от кофт и вправду невозможно отвести глаз. Шуре нравится бледно-голубая, с синими розами и перламутровыми пуговицами.

Вечером, набравшись духу, подождав, пока мама отдышится и придет после работы в себя, Шура осторожно заводит разговор про вожденную кофту. Мама почему-то совсем не сердится, только вздыхает, тяжело поднимается с дивана и говорит Шуре:

– Пойдем.

Потом пересчитывает деньги и откладывает в кошелек двадцать рублей.

До закрытия магазина – полчаса, и народу к вечеру там совсем немного. Шура подводит маму к прилавку, и они начинают выбирать. Мама говорит, что голубая кофта простовата, и если брать, то, несомненно, желтую. Шура вздыхает и соглашается. Желтая определенно лучше, чем никакая. Мама направляется к кассе, а продавщица уже заворачивает в бумагу желтое, в розочках, чудо. Вдруг Шура слышит мамин крик и понимает: что-то случилось. Она бросается к кассе и видит, что мама плачет.

– Кошелек вытащили, Шурка! – говорит мама и вытирает ладонью слезы.

Вокруг мамы толпятся зеваки и продавщицы. Все утешают ее, а про Шуру никто не вспоминает. Шура одна-одинешенька со своим горем. Потом мама берет Шуру за руки и резко бросает:

– Идем!

По дороге они обе режут в голос. Папа уже дома. Он сидит за столом и ест жареную картошку. Услышав их рассказ, Асенька всплескивает руками, а папа смеется.

– Тоже мне беда! – говорит он.

Ночью Шура, конечно, не спит. Настроение – хуже некуда. Она еще немножко плачет и под утро засыпает. И снятся ей Динка и Розка, понятное дело, в новых кофтах.

День проходит тоскливо – не хочется ни обедать, ни гулять, ни делать уроки. Вечером приходит папа – совсем не поздно, Шура еще не спит. Он заходит к ней в комнату и кладет на кровать бумажный пакет. В пакете кофта. И не желтая, а голубая. Та самая, из Шуриных снов. Шура бросается к папе на шею и целует его.

– Ты самый лучший на свете! – кричит Шура.

А папа опять смеется:

– Носи, Шуренок, на радость!

И нет человека счастливее, чем Шура. Она меряет кофту и крутится перед зеркалом.

Вскоре случается одна странная история, которую Шура постарается сразу забыть. У метро, куда девчонки побежали за мороженым, она видит маму. Мама стоит с каким-то мужчиной, и он держит ее за руку. Не просто так, а со значением, как сказала бы Асенька. Шура это понимает. Она скорее старается увести двойняшек подальше, чтобы они ничего не заметили. Шура старается об этом не думать, но все равно у нее перед глазами стоят эти двое. Стоят, замерев, и смотрят друг на друга. И похоже, не видят вокруг никого. Мужчина кажется Шуре смутно знакомым, но, положив руку на сердце, она его не очень-то разглядела.

А дома тем временем тоже творится неладное. От Шуры скрывают, но она все видит. Мама часто запирается в ванной и плачет – Шура слышит. Бабуля колотится в дверь, но мама не открывает. А папа, проходя мимо, говорит Асеньке, чтобы та оставила маму в покое.

Потом мама уезжает в командировку. И все это как-то очень странно. Асенька с мамой в ссоре, и папа ходит мрачнее тучи.

– Не останавливай меня, – говорит мама бабуле. – Все равно уеду.

Мама приезжает через несколько дней. С ней творится что-то непонятное. Она то плачет, то смеется, то целует Шуру, то говорит «отстань». Шура беспокоится, что мама болеет, но нет – она снова ходит на работу.

Летом опять снимают дачу. И снова по пятницам Шура с Катенькой встречают маму и папу на станции. Только они оба какие-то грустные. Мама почти ничего не ест, все лежит в гамаке и курит. Папа пьет на террасе чай, и Асенька, вздыхая, говорит: «Ушел из дома покой», а папа ничего не отвечает. Шура все это слышит, но она занята важным делом: нанизывает на нитку ягоды рябины, делает Катеньке бусы.

В августе собираются на море, но ничего не получается. Папа не может уйти с работы – не на кого оставить отделение. Шура и Катенька очень расстраиваются, а мама говорит:

– Ну и слава богу! Не очень-то и хотелось.

В сентябре снова начинается школа. Динка и Розка, заведя Шуру в угол, жарко шепчут ей на ухо, что они, скорее всего, скоро уедут.

– У папы неприятности, – объясняет Динка.

– Очень крупные, – подтверждает Розка, и обе они делают большие глаза.

– Куда уедете? – понимая, что это страшная тайна, тихо спрашивает Шура.

– Туда, – многозначительно хором отвечают сестры и почему-то поднимают глаза к небу.

– Но это же очень страшно! – пугается Шура.

– Страшнее, чем здесь, не бывает, – трагическим голосом отвечают двойняшки.

Шура мало что понимает, но заранее расстраивается – расставаться с подружками ей совсем не хочется.

Она почти совсем забросила коньки – ходит на каток изредка, по воскресеньям, покататься для себя. Теперь ее больше увлекает театральная кружка и факультативы по химии.

Дома совсем грустно: мама больше не поет по утрам, бабуля все чаще мучается давлением, и папа по утрам делает ей уколы. Мама тоже часто берет больничный и подолгу лежит

у себя в комнате на диване и просит ее не беспокоить, а папа еще больше проводит времени на работе.

Иногда, примерно раз в полгода, мама уезжает в командировку. Она долго собирается и просит Беллу Арнольдовну, маму Динки и Розки, достать ей консервы, копченую колбасу, индийский чай и растворимый кофе. Это странно, раньше она с такими просьбами к Белле не обращалась. Уезжает она примерно на неделю, и папа отвозит ее на вокзал. Асенька почти совсем не встает. Шура водит Катеньку в детский сад и кружок балльных танцев.

Динку и Розку на комсомольском собрании с позором выгоняют из комсомольцев. Шура на собрание не идет. На классном часе классная объявляет Динку и Розку предателями родины. Шура опускает глаза, а сестры смеются. Динка с Розкой с родителями уезжают в Америку, от греха подальше, как говорит Белла Арнольдовна. Из Америки они присылают Шуру короткие письма на очень тонкой, почти прозрачной бумаге с цветными бабочками в углу. Шура этих бабочек вырезает и наклеивает на обложку тетрадей.

Умирает Асенька – ночью, во сне. Шура помнит, как в голос, громко плачет мама и просит у бабули за что-то прощения. Еще Шура помнит, что в комнате стоит красный с черным гроб и в гробу лежит Асенька, почему-то очень маленькая, совсем как ребенок, только в белом платочке на голове; ее очень трудно узнать, никогда раньше платков Асенька не носила. Но папа говорит, что так положено. Он просит Шуру подойти к бабуле и попрощаться и объясняет, что ничего страшного в смерти нет. Но Шура все равно боится.

На кладбище Шура не берет, она остается с сестрой. Соседки пекут блины и накрывают на стол – с кладбища все приедут поминать Асеньку. На поминках Шура видит, что мама пьет много водки и папа ее все останавливает, но она продолжает пить. Маме становится плохо, соседка ведет ее в ванную и ставит под холодный душ. А мама вырывается, кричит и зовет папу, но папа почему-то не выходит из своей комнаты. Шуре жалко и маму, и папу и еще неловко за маму. Она горько плачет по Асеньке и всем своим детским сердцем понимает, что прежняя, прекрасная жизнь закончилась безвозвратно и никогда их семья не будет жить спокойно и счастливо.

Да что там счастье! В дом приходит настоящая беда, огромная, как весь земной шар. Мама начинает пить. Она уже совсем не похожа на прежнюю маму – добрую, красивую и веселую. Она запирается у себя в комнате и пьет, а потом целый день спит. В доме нет ни обеда, ни ужина, в доме грязь и разруха. После школы Шура пытается прибраться и сварить обед. Получается плохо – Асенька ничему не успела ее научить. И потом, еще очень много уроков – последний, десятый класс. Вечером она забирает сестру из детского сада и подолгу с ней гуляет, чтобы как можно дольше не идти домой. Катенька хочет есть, и Шура в кулинарии покупает ей булку с холодной серой котлетой и стакан сока.

Папа борется с мамой всеми силами – кладет в больницу и санаторий, делает уколы и кормит с ложки, объясняет Шуре, что это болезнь, и просит маму пожалеть. Но Шура ничего поделать с собой не может – она почти ненавидит маму, и ей страшно от этих мыслей. Она винит во всем ее, а папу как раз жалеет. Мама ходит по квартире как тень, худющая, с растрепанными волосами и черными кругами под глазами. Шура старается на нее не смотреть. Впрочем, иногда, после больницы, мама приходит в себя – идет в парикмахерскую, красит волосы, покупает новое пальто или туфли, снова красит губы и душит духами. И опять куда-то собирается. Пакует сумку с продуктами и папиросами, покупает у бабулек на рынке теплые носки и шерстяные варежки. И снова папа везет ее на вокзал.

Шура уже не ребенок, и она отчетливо понимает, что все это какая-то большая и страшная тайна. Какие командировки? Мама давно ушла с работы. Она спрашивает у отца, куда едет мать, а он молчит и говорит Шуре, что это мамина тайна и рассказать об этом должна сама мама. Но разговора не получается – мама возвращается из поездки и снова начинает пить. И опять бродит по квартире как тень.

В августе Шура поступает в МАИ, это совсем рядом с домом. Катеньку папа устраивает в китайский интернат. Теперь Шура забирает сестру на выходные домой, но Катенька ехать домой не хочет. Шура ходит с ней в музей или в кино, и Катенька просит, чтобы Шура отвезла ее поскорее обратно.

Папа очень постарел и изменился. Теперь он еще и преподает студентам – денег, как всегда, не хватает. А нужно многое: путевки в санаторий для мамы, одежда и фрукты для Катеньки, новые сапоги и зимнее пальто для Шуры.

Шуре очень нравится в институте. У них образовалась большая и дружная компания, и после лекций все не спешит расставаться и идут в кино или к кому-нибудь домой. Не зовет к себе только Шура, ссылаясь на то, что сильно болеет мама.

В декабре Шура влюбляется и через месяц выходит замуж. Ей очень хочется уйти из дома и начать свою, взрослую жизнь. Ее молодого мужа зовут Миша, он ее одногруппник. Им так здорово вместе: они бегают в театр на «лишний билетик», не пропускают ни одной выставки и бардовских выступлений по клубам. Замечательно, что у Миши есть своя комната – в коммуналке на Чистых прудах. Там, конечно, пыль и разруха, но Шура наводит чистоту и блеск. В доме все время люди – поют песни под гитару, общаются, и Шура не успевает нарезать винегрет и варить глинтвейн из дешевого болгарского вина.

Живут они с Мишкой дружно и весело, как положено студентам. На выходные Шура старается забрать Катеньку к себе. Иногда, по субботам, к ним заезжает папа, как всегда, с огромной сумкой продуктов. Но в воскресенье они зовут гостей – и опять в холодильнике пусто, однако это их несколько не огорчает. Домой Шура почти не заезжает. Ее, конечно, мучает совесть, но она все откладывает эти визиты «на потом».

На летние каникулы они большой компанией уезжают в Коктебель. Снимают крошечную душную комнатенку – и удобства их вовсе не заботят. На пляже они играют в волейбол и подкидного дурака, а вечерами пьют во дворе дешевое и кислое молодое вино и жарят шашлыки. Все счастливы и беззаботны, как бывает только в ранней молодости.

Телеграмму о смерти мамы Шура получает за три дня до отъезда. Они бросаются на вокзал и пытаются поменять билет, но страдающих с подобными телеграммами – целая очередь. Они ночуют на вокзале две ночи, и наконец им удается поменять билет. Поезд дополнительный. В нем разбиты стекла и нет постельного белья. Но Шуру это не волнует. Она целый день стоит в тамбуре и смотрит в окно.

На похороны они не успевают. Первое, что Шура видит дома, – отца на кухне. Перед ним – фотография мамы и початая бутылка водки.

– Шуренок! – восклицает отец и, уронив голову в руки, начинает плакать. Шура садится возле него и гладит его по голове. Мишка растерянно топчется в дверях. Они, конечно, остаются ночевать. Отец и Мишка опять пьют, а Шура нарезает немудреную закуску, варит картошку и уговаривает отца хотя бы немного поесть. Он плачет, мычит что-то невразумительное и все время рассказывает, какая красивая лежала в гробу Шурина мать.

Шурина семейная жизнь как-то постепенно начинает терять ясные очертания. Отношения с мужем Мишкой все больше принимают характер дружеских. Им по-прежнему хорошо друг с другом, но все чаще они созывают шумные компании, и все реже им хочется остаться друг с другом наедине. Оба они чувствуют, что их скороспелый и бездумный студенческий брак дает непоправимую трещину.

Летом Мишка уехал на халтуру куда-то под Керчь, строить пионерский лагерь, а через полтора месяца написал Шуре, что у него закрутился роман с поварихой – студенткой ленинградского педа. Объяснял, что все серьезно, серьезнее не бывает. Но был благороден – в связи с его переводом и переездом в Питер к этой самой девице он написал Шуре, что жить она может в его комнате, только пусть не забывает платить коммунальные.

Шура прочла письмо без волнения и даже удивилась своему спокойствию и равнодушию. Мужа, теперь уже бывшего, она совсем не осуждала и в глубине души была рада такой быстрой и легкой развязке.

Она обрадовалась одиночеству и в ближайшее время романов решила не заводить. По выходным забирала Катеньку из интерната, и они ехали к отцу. Все вместе, втроем, они ездили на кладбище. Катенька отреагировала на смерть матери спокойно, видимо, привыкла обходиться без нее. А отец горевал безутешно. Долго не уходил с кладбища и все гладил мамину фотографию.

Шура окончила институт и пошла работать в проектный институт. Работа была монотонная и неинтересная, и ей все время казалось, что она проживает жизнь бездарно и пусто. Год спустя у нее случился служебный роман, но предмет ее воздыханий был прочно женат, имел двухлетнего сына и психически неуравновешенную жену, и потому их встречи были нечасты и печальны для Шуры. Он неловко смотрел на часы, а она расстраивалась и начинала плакать. Время для их торопливых и скомканных свиданий выкраивалось нечасто, и было в них больше грусти, чем радости.

Года через два с начала их романа он попытался уйти из семьи и явился к Шуре с чемоданом, но спустя три недели вернулся к жене. Волевым решением Шура положила с ним расстаться – не тут-то было, спустя пару месяцев все закрутилось по новой. Она отчетливо понимала, что это путь в никуда, одна сплошная боль и потеря здоровья и времени. И конечно, было невыносимо видеть друг друга каждый день.

Шура ушла с работы. Новое место находилось довольно далеко от дома, но она даже была рада этому обстоятельству – приползала домой еле живая, и на дурацкие мысли и страдания совсем не оставалось сил.

Однажды среди недели позвонил отец и попросил приехать. Она приехала после работы, замученная и усталая, но, увидев отца в полном здравии, как-то сразу успокоилась.

Отец жарил на кухне картошку. Шура сняла пальто и сапоги и прилегла на диван, но он позвал ее ужинать. На столе стояла бутылка водки. Отец разложил картошку по тарелкам, крупно нарезал репчатый лук и открыл банку сайры. Потом налил водки – себе и Шуре.

– По какому поводу гуляем? – удивилась она.

Отец не ответил и опрокинул стопку. Потом он долго и молча ел, побрякивая от удовольствия, и молчал. Молчала и Шура. От водки потеплело внутри и еще больше захотелось спать. Наконец отец доел картошку, откинулся на стуле, закурил и внимательно посмотрел на Шуру.

– Есть разговор, Шуренок, – сказал он. И добавил: – Очень важный разговор.

Шура вздохнула.

– Ну, пап, не томи! Сколько можно!

Отец налил себе еще стопку.

– Для храбрости? – усмехнулась Шура.

– Именно так, Шуренок, представь себе. Для храбрости.

Он опять замолчал и прикурил новую сигарету.

– В общем, так, девочка, – начал он. – Только молчи и слушай. И не перебивай, если сможешь.

Шура вздохнула и кивнула.

– Тебе надо ехать в Архангельск, Шура. Незамедлительно ехать. Билет я уже взял. Он на столе в прихожей. Билет удобный – в поезде выспишься. На работе придется взять отгулы, дня на три или четыре, как сможешь.

Шура удивленно вскинула брови.

– Какой Архангельск, пап? Ты о чем?

Отец подошел к окну и открыл форточку.

– В Архангельск, Шуренок, – повторил он. – В Архангельске живет твой отец. Точнее, умирает. Диагноз мне известен. Плохой диагноз, Шура. Очень плохой. Короче говоря, тебе надо успеть.

Отец стоял к Шуре спиной и смотрел в окно.

– Пап! – жалобно сказала она. – Объясни, пожалуйста, пап, ну, я тебя очень прошу! Что за бред, пап! Какой отец, какой диагноз? – Она всхлипнула и закрыла лицо руками.

Отец сел за стол и разлил по стопкам водку – себе и Шуре. Молча выпили.

– История древняя, Шуренок. Такая древняя, что даже древней тебя, – улыбнулся он. – Говорить мне будет непросто. Это мягко говоря. Я прошу одного: слушать и не перебивать. Все вопросы – потом.

Шура кивнула.

– В общем, эта история началась давно. До твоего рождения, естественно. Мама окончила техникум и уехала отдыхать. На море. Денег тогда совсем не было, и Асенька снесла в ломбард свои золотые часы. Поехала она с подружкой, была у нее такая Света Семенова. Потом жизнь их развела, ты ее не знала. Но это и неважно. – Отец встал, подошел к окну и закрыл форточку. – Выбрали они Бердянск, курорт недорогой и обильный. Сняли комнатку в слободке. От моря далековато, но зато дешевле. Купались, загорали. Бегали в киношку – ну, в общем, как обычно. Кавалеры кружились роем – оно и понятно: две молодые, хорошенькие москвички. Да что там хорошенькие – мама была тогда просто красавица. Впрочем, почему тогда? Она всегда была красавица. Всю свою не очень счастливую жизнь. – Отец грустно усмехнулся. – Кавалеры кавалерами, но мама держалась в стороне. Она всегда была осторожна и избирательна. Отпуск подходил к концу, оставалась всего-то неделя. И тут она встретила его. – Отец замолчал и опустил глаза. – Да, его. И совершенно потеряла свою молодую и распрекрасную голову. Ее можно было понять: тридцатитрехлетний красивый мужик, высокий, ладный. В волосах – ранняя проседь. В свои тридцать три – главный инженер большого текстильного комбината где-то под Новосибирском. В Бердянск он приехал на голубой «Волге» – сам заработал, сам купил. Они ездили с мамой на дальнюю косу, на совсем дикий пляж. Пролетела неделя – они не заметили. Нужно разъезжаться – а они не могут разомкнуть рук. Понимают, что это не банальный курортный роман, оба понимают. Но он предельно честен. Сразу, с первого дня знакомства, объяснил ей, что женат. Всерьез и надолго. Есть одна причина – не очень здоровый сын. А если точнее, мальчик серьезно болен, инвалид с детства, еще и слабослышащий – что-то упустили при родах. В общем, полный набор. Да еще и расстояние – сколько верст друг до друга! Он говорил, что любит ее, но будущего у них нет наверняка. Но мама ничего не хотела слушать – она придумывала разные схемы, ей казалось, что все прекрасно можно устроить – в конце концов, самолеты летают, да и поезда еще никто не отменял. Она легко согласилась с тем, что они никогда не смогут быть вместе – ну, в полном смысле слова. Ей было наплевать на расстояние, ее не смущало, что встречаться они смогут крайне редко – хорошо, если в полгода раз. Ее ничего не смущало – она любила и была любима, а это главное. Они разъехались, и началась переписка. Она писала ему «до востребования», а он ей на адрес Светки Семеновой. От Асеньки она все до поры скрывала. Через два месяца он приехал в Москву. На два дня. Поселился в гостинице. Она, естественно, у него. Для матери она придумывала всякие легенды. Эта история длилась почти три года – и всякий раз он предлагал ей расстаться и попробовать устроить свою жизнь. – Отец встал, подошел к плите, налил чайник и поставил его на огонь. – Попьем чайку, Шурка?

Она помотала головой:

– Нет, прошу тебя, дальше.

Отец кивнул и опять сел за стол.

– А потом она забеременела. Тобой. Совершенно сознательно. Он просил ее не оставлять ребенка – не потому, что был подлец, а потому, что имел ужасный опыт – больного сына. А

мама и слышать не хотела. Пока она тебя носила, он вел себя безупречно – помогал деньгами и часто прилетал. Она познакомила его с Асенькой. Та, конечно, ситуацию не приняла: взрослый, женатый мужик, Новосибирск, больной ребенок. Вину во всем только его. Высказала ему все – ты же ее знаешь. Он со всем соглашался. Только что это меняло? В общем, ты родилась. Он по-прежнему приезжал и высылал деньги. А бабушка по-прежнему не хотела о нем слышать.

Мы встретились с твоей мамой, когда тебе было полтора года. Случайно, у общих знакомых. Через месяц я сделал ей предложение. В тот день она рассказала мне все про свою жизнь. И еще сказала, что любит того человека, очень сильно любит. Она была абсолютно, безоговорочно честна. Никаких претензий. А я был согласен на любой вариант, на все, только бы она оставалась со мной. Она думала несколько месяцев, а потом согласилась. Конечно, свою роль сыграла Асенька – мы с ней крепко подружились. Она видела во мне мужа, отца и главу семьи. Видела мое отношение к маме и, конечно, к тебе. Это, наверное, и было главное. Тебя я действительно сразу и всем сердцем полюбил. Сначала – как продолжение мамы. А потом – просто, без всяких оговорок. Сразу и навсегда. Ты и вправду была чудесным ребенком – смысленным, послушным и не капризным. Полюбить тебя было совсем нетрудно, ты сама мне в этом помогала. Мама, конечно, все рассказала твоему отцу. Он ответил, что искренне за нее рад. Наверное, ему действительно было бы легче, устрой мама свою судьбу. Но она наверняка ждала от него другой реакции и других слов. А получается, что получила от него карт-бланш. И тогда, только после этого разговора, она дала мне согласие. А я, конечно, был счастлив и совершенно уверен, что все непременно образуется – искренняя и идиотская уверенность влюбленного. В общем, расписались. Свадьбы мама не захотела – оно и понятно. Я, как ты понимаешь, был согласен на все. Жить мы начали вроде бы неплохо... – Отец замолчал и посмотрел в окно. А потом повторил: – Да, неплохо. Мне, признаться, хотелось большего. Впрочем, я знал, на что шел. Твой отец вел себя безупречно: посылал деньги, не приезжал и писем не писал. Короче говоря, делал все, чтобы мамина жизнь наладилась. А потом я тебя удочерил и был совершенно счастлив. И об одном просил маму: чтобы она отказалась от *тех* денег. Брать у кого-то, даже у твоего биологического отца, деньги на свою дочь мне казалось неприличным. О его чувствах я, конечно же, не думал. Он появился спустя несколько лет. Приехал в Москву в командировку. Мама тогда была беременна Катенькой, а ты покорила ледовое пространство.

Шура усмехнулась.

– Конечно, ничего странного, – продолжал отец. – Он просто захотел увидеть свою дочь. Нормальное желание. В конце концов, он мне не докучал все эти годы, и я все понимал и был совершенно спокоен. – Отец вздохнул и закурил новую сигарету. – Оказалось, что зря. Это в смысле того, что я был спокоен. – Он опять замолчал. – Просто они тогда увидели друг друга – и все покатило к чертовой матери. Вся жизнь. Вся наша такая налаженная и отлаженная жизнь. Теперь он опять стал прилетать. Не то чтобы часто, но мне хватало. – Он замолчал и скомкал пустую сигаретную пачку.

– А я его помню, – сказала Шура. – Вернее, тот день, ну, когда он купил мне коньки. Его самого я помню плохо – какой-то высокий и худощавый дядька. Ничем особенным он мне не запомнился, кроме коньков, разумеется. Я помню, что я тогда сильно смутилась и очень удивилась. Но мама сказала, что это ее хороший знакомый, старый приятель, что ли. В общем, она меня успокоила.

– Я помню, как ты была счастлива, – усмехнулся отец. – И ругал себя за то, что не сделал этого сам. Дурак, кретин, помешанный на своей работе! Ругал за то, что не сообразил, а ты у меня не просила. А ведь это доставило тебе такую радость! И очень обиделся на маму – она не должна была этого ему позволять. Так я думал тогда и, конечно, был не прав. Она ведь тогда не о моих амбициях думала, а о том, что чувствовал он. И это было правильно. А что еще он мог для тебя сделать? И я ревновал ее сильно. Так ревновал, что сердце заходило. Понимал, что она все равно там, с ним, а не со мной. Даже после того, как родилась наша общая дочь. –

Он замолчал, встал и опять подошел к окну. – Не приведи господь, Шурка, узнать человеку такие муки. Ты знаешь, я не из тех, кто скулит, но, ей-богу, не приведи господь!

Шура кивнула:

– Я все понимаю, пап. – И, помолчав, добавила: – А все ведь считали, что у нас замечательная семья. Все. И я в том числе. Хорошо же вы замечали следы, – горько усмехнулась она.

– Да нет, Шура, это не совсем так, – ответил отец. – У нас действительно была неплохая семья – без скандалов и претензий друг к другу. Мы понимали, что нужно все сохранить, ради детей, разумеется. А что до моих терзаний – так она ничего не могла с собой поделать. Есть что-то такое, что неподвластно человеку. И в конце концов, повторяю: она ничего мне не обещала и была абсолютно честна. А все остальное – мои проблемы. Эту жизнь я выбрал для себя сам. Давай чаю, а, Шуренок? Тем более что водка кончилась. Хорош я, нечего сказать, – усмехнулся он. – Родную дочь спаиваю! – Он подошел к плите, снова поставил чайник и засыпал заварки в маленький пузатый заварной, с отколотым носиком, еще Асенькин, наследный и любимый. Налил крутого кипятка, накрыл заварной чайник чистым полотенцем («Пусть настоится») и снова сел за стол. – В общем, смириться со всем этим было непросто, а жить дальше было надо. Помогала работа. Ну, и еще ты и Катюха. Иногда мне казалось, что весь этот кошмар вот-вот закончится. Мама как-то постепенно стала приходить в себя. Или мне так казалось. Хотя нет, так оно и было. Это было понятно только нам двоим – в смысле это была только наша личная, если хочешь, интимная жизнь. Да и потом, все эти хлопоты – ты, Катенька, заботы, дом... Помнишь, она начала тогда вязать?

Шура кивнула. Отец продолжал:

– И вязать, и шить. И училась у Асеньки печь пироги. – Он улыбнулся. – Правда, тесто у нее никогда не всходило, но для этого, наверное, тоже нужен талант. В общем, старалась, как могла. Иногда получалось, но чаще всего нет. И она страдала. Поверь мне, страдала. Пошла на работу, думала, что будет легче. – Отец опять замолчал и открыл новую пачку сигарет. – А дальше... Дальше случилась большая беда, Шура. Очень большая беда. Его, твоего отца, посадили. Было громкое дело, все газеты писали. Хищение в особо крупных размерах, злоупотребление и халатность. Девяносто вторая статья. С конфискацией, разумеется. В общем, пошли обыски и суды. Обыск ничего не дал – у него ничего не нашли и даже удивились, как скромно он живет. Но это роли не сыграло – срок грозил большой, да и дело было показательным. Я уверен, что его подставили – шуровал там главный бухгалтер. Но срок он все равно получил, чтобы другим неповадно было. Правда, немного сыграло роль, что у него был большой ребенок, но все равно хватило – восемь лет. Правда, потом его почти располовинили – пять лет усиленного режима и три года – «химия». Жена его тогда попала в психушку, сына определили в интернат. В общем, представляешь, что с ним было. С мамой. И с нами со всеми. Но что говорить про нас! Смешно. Вот тогда-то и начались мамины «командировки». Ну, это ты, наверное, помнишь. Ей давали свидания, максимум сутки. Жена его ездить не могла. А потом ты знаешь, Шура, что случилось, – мама начала пить. И я был совершенно бессилен – помочь ей у меня не получалось, сколько бы я ни бился. Все дело в том, что она совсем не хотела, чтобы ей помогали. Она оживала, только когда подходил срок поездки, а в остальное время была абсолютно безучастна ко всему. Ну, это ты помнишь – о чем говорить. Еще смерть Асеньки – мама тоже чувствовала свою вину. Она собиралась поехать к нему насовсем – после того, как его переведут на поселение. И даже сама просила меня положить ее в больницу, понимая, что надо хоть как-то привести себя в порядок. Но получила письмо, где он ей написал, что к нему приехали жена и сын, сняли дом в поселке. Ни врачей, ни условий там нет, но жена приехала, и он ничего с этим поделать не может. Вот после этого мама уже не поднялась – незачем было. Слава богу, ты уже не жила дома и всего этого не видела, да и Катенька жила в интернате. Последние недели были самые страшные – она уже совсем ничего не хотела, ей все было в тягость. Она все время говорила, что устала жить и страдать. И бог ей послал

легкую смерть. Смешно говорить, но после последних лет ее жизни это было действительно избавление. – Он помолчал и спросил: – Знаешь, что меня мучает больше всего, Шурка?

Шура мотнула головой.

– То, что я ничего не смог сделать. Ни заставить ее меня полюбить, ни забыть твоего отца. Ни сделать ее хоть капельку, ну самую малость, счастливой. Ни избавить ее от болезни. Ни облегчить ее страданий. НИ-ЧЕ-ГО, Шурка! Я не смог ничего сделать. А говорят еще – сила любви. Значит, у нее она была, эта сила, а мне не хватило. Выходит, что так. – Отец замолчал. – И вообще, в этой истории победителей нет. Одни проигравшие.

– И ты еще винишь себя? – сказала Шура. – А про свою жизнь ты подумал? Про свою исковерканную и покореженную жизнь? Какое чувство вины, пап? Разве ты не делал все, что мог? И даже то, чего не мог? И ты еще казнишь себя? Эти двое сами выбрали свою судьбу.

– А я – свою, – ответил он. – И тоже, заметь, добровольно. Так что виновных искать смешно, девочка. Просто ты должна их понять и простить. А для того чтобы простить, надо хотя бы понять. И тебе самой станет легче жить. Господи, мы ведь с тобой забыли про чай! – улыбнулся он и достал чашки (свою – голубую, с золотым ободком, и Шурину – белую, с желтыми ромашками по краю), налил темную, почти черную, сильно настоявшуюся заварку. Потом достал из шкафа банку варенья и смущенно проговорил: – Вот, Леночка угостила, старшая медсестра. У нее дача в Купавне и большой сад. Говорит, в этом году сумасшедший урожай яблок. Совсем некуда девать.

Потом они долго пили чай и молчали. Отец опять стоял у окна и смотрел на уже темную, почти чернильную улицу. А потом он как-то собрался, подтянулся и повторил Шуре, что надо собираться в дорогу.

– Ты должна поехать, девочка, – настаивал он.

Шура молча мотала головой.

– Должна! – повторил он. – Ты думаешь, его жене было легко просить меня об этом? Но она же это сделала, Шура! И тебе это сделать нужно. В конце концов, ты это сделать просто *должна*.

– Я? – удивилась она. – Нет, пап. Вот здесь ты заблуждаешься. Глубоко заблуждаешься. Ничего я ему не должна. И потом, какие у меня перед ним обязательства? Кто он мне такой, в конце концов?

– Шура, ты уже не ребенок. Ты уже взрослая женщина! Со своей, кстати, непростой судьбой. Кто там знает, как сложится жизнь? А про долги – никто никогда не расплатится по счетам, как бы ни старался. На раздумья времени нет, и я не хочу, чтобы в дальнейшем ты о чем-то жалела или не смогла себя простить. Я понимаю, что тебе нелегко, но я тебя хорошо знаю, девочка, и надеюсь на твое благоразумие. – Он улыбнулся и положил свою крупную ладонь на Шурину руку.

– Это вряд ли, пап, – ответила она и убрала свою руку.

– Ну, смотри, – вздохнул он. – Тебе решать.

– Я у тебя останусь? – спросила Шура. – Ехать неохота, да и сил совсем нет.

– Конечно! – кивнул он. – В твоей комнате все постелено.

Шура встала со стула, собрала тарелки и чашки и поставила их в мойку.

– Иди, иди, – сказал отец, – я помою.

Она мотнула головой и включила горячую воду.

– Слушай, пап! – обернулась Шура к отцу. – А вот сейчас, сегодня, когда все это уже в прошлой жизни, почему бы тебе не устроить свою судьбу? Ты ведь еще совсем не старый мужчина, полный сил, умный, красивый, талантливый. Кому, как не тебе, а, пап? Нет, правда, послушай!

Он усмехнулся.

– Ну спасибо, конечно, за комплимент. Приятно это слышать из уст молодой и красивой женщины, пусть даже эта женщина – твоя дочь. Я ничего не загадываю, Шурка. Но не подавать же мне свою кандидатуру на брачный рынок, если таковой имеется? И потом, прошлой жизни не бывает, Шуренок, уж ты мне поверь! – Отец улыбнулся, подошел к Шуре и поцеловал ее. – Спать, девочка. Немедленно! Бросай эти плоски к чертовой матери!

В комнате было душно. Шура открыла настежь окно, и тут же ворвался, словно долго ждал этой минуты, прохладный и свежий майский ветер. Шура укрылась одеялом и блаженно вытянула ноги.

«Господи! Как я устала!» – подумала она. И приказала себе отключиться.

– Завтра! – прошептала Шура. Обо всем этом она подумает завтра.

Когда она проснулась, отца уже не было. На кухне, накрытый полотенцем, стоял пузатый бабулин чайник со свежей заваркой. Она умылась, выпила чаю, съела бутерброд с сыром и посмотрела на часы.

«Ну, вот, как всегда, опаздываю», – подумала она. Второпях подкрасила губы, провела щеткой по волосам и накинула плащ, внимательно и критически оглядела себя в зеркало и поправила выбившуюся прядь. «Ну вот – а теперь к метро, и бегом. И хорошо бы, если бы сразу подошел трамвай. Пешком точно не успею». Она протянула руку за ключами и увидела на полочке перед зеркалом почтовый конверт. Она открыла его – в конверте лежал билет на отходящий вечером поезд. В один конец. Она повертела конверт в руках, поразмышляв, положила его в сумочку и выскочила из квартиры.

На улице Шура запахнула плащ – утром еще было прохладно, но в город уже окончательно пришла весна. Она побежала на трамвайную остановку, и, на ее счастье, через пару минут подошел трамвай.

«Успею, – подумала Шура. – Слава богу, не опоздаю».

Ей действительно нужно было многое успеть. И ни в коем случае не опоздать.

## Умная женщина Зоя Николаевна

Зоя Николаевна считала себя умной женщиной. Если говорить начистоту, даже очень умной. Судите сами: всю жизнь проработать в торговле, от продавца до директора магазина, и ни разу не иметь крупных неприятностей. По-настоящему крупных. Тьфу-тьфу. Конечно, всякое бывало – и ночей не спала, от ужаса тряслась, и взятки давала, да по молодости не только взятки. Все было. Но худо-бедно все разруливала. Все потому, что есть масло в голове. И еще потому, что никогда не зарывалась. Всем жить давала. Но и про себя не забывала, что говорить.

А про дочку? Все опять сделала своими руками. Хоть дочка и сама по себе куколка, ничего не скажешь. Но куколок вон сколько, и что, у каждой жизнь сложилась? Да еще так! Как? А вот так: всех Лидусиных кавалеров строго отслеживала. Всех в дом пускала, со всеми чаи распивала, про семью выведывала, про планы на жизнь.

Один раз, правда, испугалась всерьез – Лидуся влюбилась. Да в такого неподходящего – бандана с черепом на голове, косуха черная с заклепками, и все «это» на мотоцикле. Рокер, короче. Или байкер – Зоя Николаевна путалась. Лидуся на заднее сиденье – прыг, а Зоя Николаевна ночи не спит, валокордин литрами глотает. Чует, дело далеко пойдет. Если не вмешаться.

Вмешалась. Старые связи помогли. Все по пунктам объяснили, как надо действовать. Что Лидусе говорить, чем кого припугнуть, ну и так далее. Нелегко было, но чего для родной дочки не сделаешь. В общем, вынудили того рокера-байкера убраться по месту прописки в город Волжский. Лидуся плакала, убивалась, за ним вдогонку собралась. Но Зоя Николаевна ее быстренько в Сочи отправила, в «Жемчужину», между прочим, а по приезде шубку норковую на плечи накинула – шоколадную, с отливом. И Лидуся собой в зеркало залюбовалась.

– Ты, мамуся, лучше всех!

Рыдать стала пореже. Если в миноре, губки дрожат, Зоя Николаевна после работы – еле живая, ноги гудят, рухнуть бы на диван всеми восемьюдесятью пятью килограммами – предлагает: Лидуся, хочешь, в ресторанчик пойдем, твой любимый, грузинский? А потом по магазинам прошвырнемся, может, что интересненькое присмотрим. Лидуся минут десять головкой помашет, носиком похлопает – и идет одеваться. А потом и вовсе успокоилась.

Тут Зоя Николаевна взялась ей жениха искать. Была одна клиентка – дочь у той в Германии жила, за немцем. Жила, как царева племянница. И дом в три этажа, и бассейн, и прислуга. На «Мерседесе» рассекает, муж в ней души не чает. А она как пирог непропеченный – белая, рыхлая. Разве с Лидусей сравнить? Если у той, «непропеченной», бассейн, то у Лидуси должно быть как минимум два. Вот с той клиенткой и начала она шуры-муры: вырезка парная, сервелат финский, кофе гранулированный из самой Бразилии. Чайку попить в кабинете, по сигаретке под ля-ля. Так фотографии Лидусины ей и подсунула. Та как раз к дочери в гости собиралась. На фотографиях Лидуся то в шубке, то в купальнике. Как есть куколка. Клиентка женишка подобрала. Правда, вдовца и не первой свежести. И даже не второй. Жаба небось задушила получше что-нибудь Лидусе подобрать. Ну да ладно. И так сойдет.

Женишок собрался быстро, не терпелось на Лидусину красоту поближе посмотреть. Через три недели в Москве нарисовался. Похож он был на румяного резинового пупса. Зоя Николаевна стол накрыла, постаралась. На столе – икра, севрюга, лососина, пироги. У немца глаза на лоб полезли. Из подарков привез то, что в самолете не доел, – печенье, сырок, сливки, все кукольное, игрушечное. У Лидуси от этих подарков началась истерика. К себе ушла, сначала даже за стол садиться не хотела. А потом ничего, пришла в себя. Вечером пошли с ним по Москве гулять.

На следующий день «пупс» пришел с цветами и колечком в сафьяновой коробочке. Предложение сделал. Лидуся долго колечко в руках вертела, колечко-то пустяковое, брильянтик – как комар писнул, слова доброго не скажешь, а потом важно так бросила: «Подумаю».

У Зои Николаевны гора с плеч. Боялась, что дочка этой дешевкой в женишка швырнет. И всю ночь напролет Лидусю увещевала да уговаривала, все объяснила: про дом, про «Мерседес», какая жизнь там и какая здесь. Лидуся все плакала и говорила, что ей и здесь неплохо, а под утро согласилась – очень хотелось спать.

И что теперь? На свою жизнь там не нарадуется. Муж в Лидусе души не чает. Дом новый купили, больше прежнего, бассейн, прислуга и садовник. Лидуся целый день в шезлонге поло-сатом сидит, ногти полирует. Потом вздохнула, настроилась – и дочку мужу родила. Копия он, тоже как гладкий розовый пупс. Немец от счастья совсем ошалел, нанял няню, а Лидусе подарил новую «БМВ», с открывающейся крышей – кабриолет называется. Вот и мотается Лидуся по городу – массаж, парикмахерская, кофе с яблочным штруделем. Дома прислуга с садовником стараются. Ребенок одет и накормлен, обед готов, везде порядок, газон подстрижен, просто как шелк под ногами, гортензии круглым ровным кустом. Плохая жизнь? А все она, мама, низкий ей поклон.

Теперь муж. Вот здесь сложнее. Полюбила его Зоя Николаевна с первого дня – как увидела. Он и вправду был собою хорош: высокий, длинноногий, пальцы тонкие, изящные, шевелюра густая, с ранней проседью, глаза голубые, брови у переносья срослись. Не мужчина – снежный барс. Ходил он почти год к Зоиной соседке студентке Маринке. По ней, Маринке, сох. Та – тоненькая, как пруттик, глаза черные, зрачков не видно, и коса по пояс. И все зубрит, зубрит. Врачихой хочет стать. А он вечером после работы придет, сидит со стаканом бледного чая, курит на кухне – Маринку дожидается. А Зоя как раз котлеты с картошкой жарит. Он смотрит, слюну сглатывает. Зоя ему – хотите котлетку? Он слюну сглотнул и кивнул. Она на тарелочку разложила – справа картошечка, румяная, с корочкой, слева пышная котлетка, сбоку по кромочке огурчик соленый, тонко так, на просвет, нарезан. Барс ест и от умиления головой качает. Так и стала она его вечерами прикармливать, пока Маринка о науку мозги точила.

Однажды в комнату свою пригласила, телевизор посмотреть, время скоротать. Он в кресле расположился, а она ему на столик под правую руку – чаю свежайшего с чабрецом и лимоном, печенья домашнего, еще теплого (яйцо, маргарин, сметана, мука – все через мясорубку). Он чаек прихлебывает, печенья одно за другим в рот отправляет – во рту тает. И по комнате глазами. А там – чистота, придраться не к чему. Занавески накрахмалены, пол натерт, подушки взбиты. Вот он на эти подушки и прилег.

Утром посмотрел на Зою – лицо длинное, лошадиное. Зубы крупные, желтоватые, задница – с какого боку обойти? Вздохнул, вспомнил талию Маринкину и косу по пояс, а пока вспоминал, Зоя ему омлетик пышный соорудила, оладушек напекла, кофе в турочке – все на жостовском подносе и в постель.

Он опять тяжело вздохнул и позавтракал с аппетитом. А Зоя ему рубашечку с вечера выстиранную, утром выглаженную предложила и носки свежие. Он от удовольствия крикнул и поцеловал ее в щеку. По-дружески и с благодарностью. И стал теперь к ней на ужины заходить. А там и до завтрака не бог весть сколько. Ночь всего. Соседка Маринка удивилась: «Ну, ты, Зойка, даешь». И опять за свои учебники.

Это уже потом, спустя месяцев семь, Зоя Барсу объявила, что она в положении. И твердо добавила, что рожать будет непременно. Невзирая на его планы на жизнь. Даже если он этого ребеночка и не думает признавать. Барс замолчал и исчез. На три месяца. А когда появился, Зоя была уже с большим животом, опухшая, с коричневыми пятнами на лице. Увидел все это Барс – такую некрасивую, громоздкую и гордую Зою, – совесть и жалость поднялись со дна его души и мощным камнем придавили все сомнения, которыми он мучился последние

месяцы. Где наша не пропадала! В конце концов, жена из нее будет замечательная, а он при этом останется приличным человеком. А с любовью потом разберемся.

С любовью он начал разбираться сразу после свадьбы, через пару месяцев. С Зоей ему и так все было ясно. Разве он обещал ей любовь? Сначала он вернулся к Маринке-медичке. Зоя быстренько разменяла квартиру. Маринка переехала в Измайлово, а они отправились в Беляево. Разные концы света. Не наездишься. Маринка отпала сама собой. Потом появилась другая, третья – и далее со всеми остановками. Зоя всегда была точно (ну, почти точно) в курсе того, что происходит. Не ленилась съездить на соперницу посмотреть, все про нее в подробностях узнать. Да и кто ей, Зое, соперница? Только у Барса взгляд застывал, она ему хлоп – новые «Жигули». Была третья модель, стала шестая. Так и до «Волги» дошли, а потом и до иномарок. Как начнет по ночам ворочаться, шумно вздыхать – она ему дубленку новую в шуршащем пакете. Шапку ондатровую на норковую поменяет, магнитофон последней модели на стол, видик на телевизор сверху пристроит. Он и притихает.

Все эти хлопоты ее, конечно, не красили, что там говорить. Постарела здорово – морщины, второй подбородок, в бедрах еще больше раздалась. Теперь и вовсе стала похожа на старую ломовую лошадь. Ни модная стрижка, ни импортные тряпки ее не спасали. А работа? Лошадь она и есть лошадь. Это барс и в старости остается барсом. Хотя с годами и он пообтрепался. Теперь это был седовласый барс с усталыми глазами и больной простатой. Но всегда найдутся желающие и на такую фактуру. Жизнь у него, прямо скажем, была не самая тяжелая – всю дорогу дурака валял в своем НИИ, о деньгах ни разу не задумался – для этого была она, Зоя. А был ли счастлив? Покой и комфорт на одной чаше, а на другой?

В перестройку она свой магазин выкупила и названа его в честь себя – «Зоя». Заслужила. Стала завозить туда деликатесы и салаты в пластиковых баночках. Дела пошли еще лучше, чем в «застой». Хотя покоя как не было, так и нет.

Купила своему Барсу синее кашемировое пальто в пол, клетчатое кашне и подержанный «Мерседес». Он уже почти успокоился и даже смирился, что жизнь его прошла так, а не иначе. Но однажды вдруг случилось с ним непредвиденное. То, чего и сам он уже перестал ждать. Пришла к нему *любовь*. Вот что случилось. Не увлечение, не влюбленность, а именно любовь.

И почувствовала Зоя Николаевна сразу: беда! Глаза у Барса засветились нездешним огнем, и отчетливо обозначились на помолодевшем лице скулы. Теперь он поднимал гантели по утрам, бегал трусцой и перестал есть копченую грудинку с яйцами. Зоя Николаевна быстро стала вычислять «предмет». «Предмет» этот обнаружился довольно быстро и даже слегка Зою Николаевну разочаровал. Это была замужняя школьная учительница английского тридцати восьми лет по имени Татьяна. Худенькая, маленькая, белобрысая – в общем, среднестатистическая училка. Таких – миллионы. Но Барсу была нужна только одна конкретная эта. Ни тебе фигуры, ни километровых ног, ни волос по плечам. Джинсы, куртешка, кроссовки. С собачкой вечерами гуляла. Зоя Николаевна курила у подъезда, разглядывала ее. Тонким голоском звенит: «Керри! Ко мне!» Пуделька своего зовет. Проходит в подъезд на своих легких ногах, здороваётся, хоть и не знакомы. Воспитанная. Учительница. Это вам не полукопченка и яйцо первой категории, не грузчики пьяные в магазине, не вороватые продавцы, не вымогатели из ОБХСС. Здесь все по-другому. Дети, родители, цветы к Восьмому марта. Тетради и учебники. Рук не замараешь. Стихи ему, наверное, читает. По ней видно. А что Зоя? Старая рабочая лошадь, которой давно пора на списание или на мясокомбинат на переработку. Отойди, подвинься. Не мешай людям красиво жить.

Приехала домой на больных, отекающих ногах, налила себе коньячку в стакан и подумала: «А ведь бросит он меня». Сердцем чуяла. И за что боролась? Всю жизнь ему дорожку ковровую расстилала, забегала вперед – а он по ней в грязных ботинках. Да ладно бы по дорожке, а то ведь по ней, Зоиной душе. Натоптал – не выметешь, столько грязи. Дочку свою единственную, кровиночку, за пузатого немца отдала. В чужую страну. И где теперь она, дочка, в тяжелую

минуту? Внучку свою, опять же единственную, кудрявую и розовую, сколько раз на руках держала? И внучка ее не понимает. По-русски – ни гу-гу. Ни одной колыбельной ей не спела, ни одной сказки не рассказала. Ковры эти, горки, хрустали – для кого старалась? Кому все это надо? Никому. И бороться уже сил не осталось. Вроде бы хлипенькая эта училка, нищая, а вот почувствовала Зоя, что ей с ней не сладить.

Барс пришел в ночи, она не спала.

– Долго шастать будешь? – грубо так спросила.

А он ответил просто, без вступлений:

– Ухожу я, Зоя.

– Ну и вали, – махнула она рукой.

Хватит, гирька до полу дошла.

– В хрущевку пойдешь, с чужим ребенком уроки делать?

Он счастливо кивнул.

Она достала из шкафа чемодан:

– Собирайся, уйдешь сегодня. Хватит. Точка.

– Куда я в ночь? – возмутился Барс. – Да и некуда мне сейчас уйти, у нее там муж.

– Не мои проблемы. Хватит, отрешалась. Теперь сам попробуй. А я одного хочу – покоя.

Барс собрал чемодан и вышел в морозную ночь.

– Вот тебе и умная женщина! – горько усмехнулась Зоя Николаевна.

Утром позвонила Лидусе в Германию. Та взяла трубку и растянула свое «хэллоу».

– Чего хэллокаешь? – зло спросила Зоя.

– А что? – испугалась Лидуся.

– Папаша твой слинял, вот что, – ответила Зоя.

– Куда слинял? – тормозила Лидуся. В Германии была середина дня – Лидуся еще не совсем проснулась.

– К училке, – бросила Зоя.

– Насовсем? – удивилась Лидуся.

– Ага, я ему и вещички собрала.

– Ты что, мать, спятила? – возмутилась Лидуся.

– Да надоело все до смерти, всю жизнь бьюсь, а что толку, как волка ни корми...

– Значит, плохо кормила, – заволновалась Лидуся.

В ее голове уже выстроилась ясная картина: мать одна, всеми брошенная – значит, надо брать к себе, а это в Лидусины планы не входило. Все комнаты в доме распределены – столовая, гостиная, комната няни, прислуги. Последняя без окна. Мать туда не поселишь, обидится. И няню не засунешь – тут же в профсоюз наступит, здесь с этим запросто. Дом большой, а не развернешься – все спланировано.

В общем, нужно самой в Москву лететь, с папашей, старым козлом, разбираться. Лидуся собралась быстро. Два чемодана своих плюс один – для матери подарки. Хоть порадует. И дочку с собой взяла – все для бабки утешение. И через три дня в Москве нарисовалась.

Зоя даже не обрадовалась – видеть никого не хотелось, так и лежала бы на диване лицом к стене. А тут – лишние хлопоты. Но деваться некуда. Поднялась, поехала на рынок, притащила неподъемные сумки, встала к плите. Два дня варила, жарила, пекла. На третий поехала в Шереметьево. Лидусю сразу не узнала. Та поправилась и коротко постриглась. Как-то опростилась. Типичная немка. Внучка стояла не мигая и жевала резинку. В глазах ни одной мысли. Круглая, толстая. Ребенок, а живот торчит. В машине Лидуся тархтела, отца поносила на чем свет. Да и матери досталось.

– Всю жизнь его, козла, поила-кормила, по курортам возила, а теперь, на старости лет, стакан воды подать некому? – Себя Лидуся из этой конструкции исключила заранее.

Зоя отмахивалась – сил не было.

Дома дочь начала метать из чемодана матери тряпки. Зоя покорно мерила, но ничему не радовалась. Не человек – автомат. Снимет, другое наденет и стопочкой на стул кладет.

Зоя накрыла стол в столовой. Лидуся ела за обе щеки, постанывала – соскучилась по холодцам и пирогам. А внучка ничего даже не попробовала. На все Лидусины уговоры отвечала одно – «найн». Лидуся откинулась в кресле, закурила и сказала:

– Надо было ей макарон сварить.

– Какие еще макароны, когда столько еды? – удивилась Зоя.

– А она только их и жрет, – спокойно ответила Лидуся.

К чаю Зоя Николаевна подала торт-суфле с ягодами и взбитыми сливками. Девочка слегка оживилась, деловито взяла ложку и стала снимать с торта верхний слой – суфле, ягоды и взбитые сливки. Лидуся не обратила на это никакого внимания, а Зоя Николаевна поперхнулась и впала в ступор. Потом Лидуся с дочкой пошли спать. А Зоя долго убирала со стола, мыла посуду, потом села на стул на кухне, налила себе чаю и посмотрела на торт – от него остался пустой песочный корж. «Вот это и есть моя жизнь, – подумала Зоя, – кому-то сливки и ягоды, а мне, как всегда, пустой сухой корж». Она горько заплакала, вспоминая Барса и нелегкую свою жизнь. Жизнь прошла, прошелестела, от забот огрубели руки, да что там руки, загрубела душа, сплошные рубцы, с чем осталась? А потом зло разобрало: пусть помучится в хрущобе, на зарплату поживет, почует наконец, что почем в этой жизни.

Утром дом перевернулся вверх дном. Лидуся моталась по квартире с сигаретой и телефонной трубкой – отдавала приказы прислуге, развесила везде свои тряпки, орала на дочку. Немецкая внучка сидела перед телевизором с непроницаемым лицом. Зоя сварила манную кашу, накрошила туда банан и натерла яблоко. Поставила тарелку перед внучкой, а та посмотрела на бабушку, как смотрят на сумасшедших. Утром девочка ела чипсы, в обед – макароны, а на ужин – чипсы с макаронами. Зоя была в ужасе, а Лидуся беспечно махнула рукой: «Не бери в голову, мам, они там все такие». Потом Лидуся начала обзванивать московских знакомых – надо же было кому-то продемонстрировать два чемодана нарядов. О своей миротворческой миссии она явно забыла.

Барс позвонил своей любимой и сообщил, что он ушел из дома. Она удивилась и спросила, что теперь будет дальше. Этого он не знал. Он вообще-то не очень умел принимать решения. Этим всегда занималась его бывшая жена Зоя. Вообще-то, надо было бы сказать: «Не волнуйся, любимая, я все устрою и придумаю». А что тут придумаешь с его зарплатой? Предложить временно пожить в машине? Устроиться на другую работу? Да кому он нужен в свои пятьдесят шесть? Панельная хрущевка его возлюбленной с мужем в придачу на две квартиры никак не делилась. Неделю он жил у старого приятеля, но тот предупредил – только неделя, через семь дней приезжает из санатория жена, и жилплощадь нужно освободить.

Хрупкая, но сильная духом учительница в тот же день объяснилась с мужем – жить во лжи ей было невыносимо. Муж, человек интеллигентный, все понял и принял без скандала, полки в холодильнике и в кухонном шкафу поделили. Это – твои, это – мои. Культурные люди. Теперь она спала в комнате с дочкой, а муж занял детскую. Все чинно-благородно.

Подали на развод. Барс теперь жил у другого приятеля, там жена была на месте, но с удовольствием Барса приняла, торжествуя, что тот бросил наконец-то эту наглую торгашку Зойку, которой она в душе всю жизнь завидовала. Встречались Барс и его возлюбленная каждый день, теперь их домом стала машина. Ездили гулять на Воробьевы горы, целовались, как подростки, и он грел своим дыханием тоненькие озябшие пальчики любимой. Все это было мило и очень романтично, но надо было еще и как-то выживать. А этого он делать не умел. Учительница смотрела на него печальными глазами и каждый раз спрашивала: что же дальше?

– Что-нибудь придумаем, – отчаянно врал Барс.

Сколько так могло продолжаться?

Просто Чехов в чистом виде.

Учительница развелась и поделила лицевые счета. Теперь они с бывшим мужем назывались соседями. Можно было позвать Барса жить к себе. Неэтично и неэстетично, но жить-то человеку где-то надо. О размене квартиры Барса с бывшей женой она не упоминала – была благородна. За это он ее и полюбил. Здесь – нежная фиалка, там – ломовая лошадь. Почувствуйте разницу.

Барс собрал чемодан и пришел в ее дом. С бывшим мужем договорились – в семь завтракает он, в восемь – они. Так же с ужином. Установили расписание в ванной. С туалетом расписания не составишь. Хуже всего было в субботу и в воскресенье, когда все терлись друг о дружку задницами. На работе Барса сократили, и любимая устроила его в школу преподавать ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Звучит красиво, но предмет самый идиотский – как себя вести в случае атомной войны.

Лидуся в Москве задержалась. В доме общих знакомых встретила своего рокера – и совсем пропала. Теперь он был никакой не рокер, а вполне успешный и уважаемый бизнесмен в строгом костюме и галстуке от Армани. Закрутился сумасшедший роман – они яростно навёрстывали упущенное. Возвращаться в Германию Лидуся не собиралась. Написала своему адвокату письмо, чтобы он там все поделил чин-чином без нее, Лидуси.

Зоя Николаевна ушла с работы и сидела дома со своей молчаливой внучкой. Отдирали ее от телевизора и читала русские народные сказки. Постепенно у девочки появилось осмысленное выражение лица, и она начала улыбаться. Когда внучка заплакала над «Мертвой царевной», Зоя Николаевна поняла: вот где ее ягоды и взбитые сливки. Ездили в зоопарк, катались на пони, гуляли по Кремлю, а на ночь она ей пела про серенького волчка и подтыкала под ноги одеяло. А однажды утром девочка попросила испечь ей оладьи с яблоками. Так у Зои Николаевны появились внучка, родная душа, и вполне счастливая, помолодевшая, влюбленная дочь.

Барс ушел от учительницы через год после того, как двадцать минут бился в дверь коммунального туалета. Собрался за пятнадцать минут. Учительница стояла лицом к окну и не говорила ни слова. Ей и так все было ясно. Барс завел машину и поехал к Зое. Дверь открыла толстенная кудрявая девочка в джинсовых шортах и крикнула в глубь квартиры: «Ба, к тебе тут какой-то господин».

Зоя вышла в прихожую в переднике и с поварешкой в руке. Она посмотрела на потрепанного Барса, глубоко вздохнула и сказала внучке:

– Поддай деду тапки.

Растерянный Барс стоял в прихожей и глупо и счастливо улыбался.

– Иди мой руки, – сказала ему Зоя, – блины еще горячие.

Барс надел свои клетчатые тапки и сразу почувствовал себя дома.

А летом поехали все вместе на море, в Турцию. Барс с Зоей и внучкой и счастливая Лидуся с бывшим рокером. Большая и счастливая семья. Где все, в общем-то, любили друг друга. Пусть каждый по-своему, кто как умел, но все же любили.

В общем, звание свое – умная женщина – Зоя Николаевна полностью оправдала. С этим не поспоришь.

## Долгосрочная аренда

Он делал всегда все так, как ему было удобно. Только ему – ничьи обстоятельства и пожелания никогда не учитывались. А ее и подавно. Как ее всегда это бесило, и как она пыталась с этим бороться! Не выходило ни черта. Домашней киски из нее не получилось, а получился вечный и несостоявшийся борец за справедливость. Подведем итог – конечно же, развод. И развод, надо сказать, случился в то самое время, когда они уже почти совсем выбрались из темной ямы нищеты и можно было наконец попробовать эту жизнь на вкус. Но именно в тот момент, когда он окончательно встал на ноги и смог обеспечивать своей семье вполне достойное существование, именно тогда он абсолютно зарвался. Хамил, требовал, брюзжал. За все эти годы она превратилась в законченную неврастеничку, четко понимая, что ей надо от него спасаться. Вопрос стоял именно так – сохранить свою жизнь. Иначе будет поздно.

– Я пока еще у себя осталась, у тебя уже нет, – сформулировала она свою позицию.

Он удивился, поморщился и бросил:

– Как хочешь, но на райскую жизнь не рассчитывай.

Она звонко рассмеялась:

– Ты меня ни с кем не путаешь? И к тому же память у меня неплохая – помню про пачкупельменей на два дня.

Развелись они быстро, без затей. Это всегда просто, когда ничего не делишь. Ей досталась их старая двушка, купленная родителями к свадьбе, а в новый, тогда еще строящийся дом спустя год он въехал уже с новой женой. Как водится, молодой и длинноногой, с хорошеньким и неживым кукольным личиком.

Свой институтский диплом, где значилась профессия модельера-технолога женского платья, она убрала подальше и стала осваивать новую профессию – ушла в риелторство. Рынок жилья стал набирать обороты, и закрутилось – аренды (кратковременные и долгосрочные), продажи, сделки. Стала зарабатывать. Договорились, что к сыну он будет приезжать раз в неделю, по воскресеньям, с утра. Ей это было совсем неудобно. Воскресенье было единственным днем, когда она могла позволить себе поваляться всласть, не красить глаза, не мыть голову, ходить весь день в халате, с толстым слоем питательного крема на лице. Мальчик ее не будил, он вообще был самостоятельным – сам делал себе бутерброды, наливал сок и садился к компьютеру. В этот день они договаривались друг друга не трогать: не говорить про уроки, не смотреть дневник, не требовать борщ на обед – в общем, не травмировать друг друга. Она мечтала просыпаться к одиннадцати, выпивать в постели кофе, листать накопившиеся за трудную неделю журналы и опять проваливаться в самый сладкий полуденный сон. Не выходило. Он сам назначил время – воскресенье в десять утра. Так ему было удобно. А это значило, что в девять надо было просыпаться, идти в ванную, приводить в порядок волосы, красить глаза, застилать постели, вытирать пыль. Ровно в десять раздавался звонок в дверь – он был крайне пунктуален. Она открывала, и он стоял в проеме – бодрый, гладко выбритый, пахнущий хорошим одеколоном, с приподнятой левой бровью и, как всегда, готовый обрушить на нее ряд претензий и вопросов. Мальчик, еще совсем сонный, уставший за прошедшую трудную неделю, уже ждал в прихожей, одетый, каждый раз с надеждой в глазах.

– Кофе будешь? – дежурно спрашивала она.

– Завтракал, – коротко бросал он.

– Я тебе не завтракать предлагаю, – усмехалась она.

Он заходил в прихожую и молча наблюдал, как она засовывает сонного сына в куртку. Потом он сухо ей кивал, и они с мальчиком уходили. Программа у них была, как правило, однообразной – зоопарк или киношка с мультиками и «Макдоналдс» на закуску. Она подходила к окну, прижималась к холодному стеклу лбом и видела, как они выходят из подъезда и

сидят в машину. Почему-то больно сжималось сердце. Она бестолково ходила по квартире, пила кофе, пыталась что-то разложить по местам, щелкала пультом от телевизора, рассеянно листала журналы. И почему-то совсем не находила себе места. Квартира без сына казалась ей пустой и безжизненной. Эти несколько часов тянулись бесконечно долго. Если они задерживались, она начинала звонить ему на сотовый, а он раздражался и резко отвечал, что не видит причин для беспокойства. Потом он поднимался с сыном на этаж, но из лифта уже не выходил, а она жадно обнимала ребенка, и ей скорее хотелось закрыть дверь в квартиру и остаться с мальчиком наедине. В этот раз бывший муж из лифта вышел и растерянно встал на пороге своей бывшей квартиры. Она начала развязывать мальчику шарф, а он все не уходил и, смущенно усмехаясь, спросил:

– Кофе больше не предлагаешь?

– Да почему же? – удивилась она и кивнула: – Проходи.

Пошла на кухню, включила кофемолку. Он рассеянно заглянул в их бывшую спальню, повертел в руках игрушки в комнате сына и вернулся на кухню.

– Замерз, – смущаясь, объяснил он.

– Не оправдывайся, – откликнулась она.

Он молча пил кофе, курил и, кажется, не торопился, как обычно.

– У тебя что-то не так? – осторожно спросила она.

– У меня многое не так. А у тебя разве нет? – с вызовом спросил он.

– Господи, все ерепенишься, – вздохнула она. – Чем ты сейчас-то недоволен? И бизнес у тебя успешный, и денег полно, и машина – мечта, и жена молодая, а все генерируешь негативную энергию. – Она закурила и с сожалением посмотрела на него.

– Что ты знаешь о моей жизни? – вздохнул он.

– И знать ничего не хочу, ты имеешь то, к чему так сильно стремился. Стремился так отчаянно, как никто. Да и вообще хватит, мы же с тобой договаривались – никаких глубинных тем, только по делу.

– Я не забыл, – резко сказал он и добавил: – А ты изменилась. Спасибо за кофе.

– Это жизнь изменилась, – пожала плечами она.

Он вышел в коридор, надел пальто, крикнул сыну «пока» и хлопнул дверью. Она еще долго сидела на кухне и повторяла про себя: «Все правильно, точно правильно. При чем тут любовь? Вот сейчас еще раз мордой об стол – убедилась?»

И еще он ей долго не простит своей минутной слабости, и те отношения, которые она тщательно выстраивала четыре года, хотя бы похожие на человеческие, та хрупкая и тончайшая грань и черта, вдоль которой они шли осторожно, как по проволоке, опять грозила лопнуть и исчезнуть, перейти в привычную когда-то плоскость взаимных укоров, претензий и обид. «Ну нет, этого я никак не допущу, – грозно пообещала она самой себе. – И ему не позволю». Потом, уже немного успокоившись, она зашла в комнату к сыну – тот прилип к монитору.

– Новая игра, мам! Папа купил, – смущенно, скороговоркой пробормотал мальчик.

Она поцеловала его в жесткую макушку и спросила:

– Обедать будешь?

– Нет, мы поели, мам.

– Опять эти чудовищные булки с котлетой, – вздохнула она.

– Угу, – кивнул мальчик.

– И тебе не до меня, – грустно подытожила она.

Потом она пошла в спальню и закуталась в одеяло – плотно, подоткнув края под себя, – детская привычка. «Надо постараться заснуть – у меня будет тяжелая неделя. Я не позволю ему опять вторгаться на мою территорию. Слишком дорого я заплатила за свой покой. Я не должна жалеть его и думать о нем. За что его-то жалеть? Впору пожалеть себя – одинокая, разведенная и, увы, немолодая женщина».

Он ехал за город на своей распрекрасной машине (господи, если бы мальчишкой он мог себе это представить), ехал в свой красивый и добротный дом, к молодой и длинноногой жене, и не было человека несчастнее его.

«Все нормально, все о'кей, – убеждал он себя. – Я все еще молод, здоров, ну у кого не бывает проблем? Все разрешится, все ерунда». Он лукавил – проблемы были о-го-го какие серьезные. И конечно же, он отчетливо представлял, чем все это может обернуться. А может, пронесет, как бывало не один раз? И еще он ненавидел себя за слабость перед той женщиной. Вот перед ней он не может оказаться неудачником. Не имеет права. Перед ней – нет, а перед своей нынешней женой? Тем более – нет. Он рассмеялся, она и полюбила его за то, что он богатый и сильный, а та – та его за это разлюбила. Вот так. Он въехал в поселок, и перед ним услужливо поднялся шлагбаум. Пультом он открыл тяжелые чугунные ворота и увидел свой дом во всей красе – светлые бежевые стены, поперечные темные балки, черепичную терракотовую крышу, молодые пушистые сосны и изумрудную яркую лужайку – даже зимой. На минуту замер и залюбовался всем этим. Это был дом его мечты. Он сам его придумал, предусмотрел все мелочи. Ему казалось, что он должен быть в нем счастлив. Он так на это рассчитывал. В кармане пальто завершал телефон. Номер звонившего был засекречен, но он знал, кто звонит.

– Тебе дали неделю на все, – тихо и внятно напомнил голос. – Ты не уложился. Теперь догадайся, что дальше. Чего молчишь?

Он не отвечал. Есть еще два дня, нет, уже полтора, но он понимал, что вряд ли что-либо изменится. Он уже сделал все что мог, или, вернее, чего не смог.

Спокойным и приятным мужским баритоном трубка продолжала:

– Долг придется отдавать. Понимаю, не хочется. Так что готовь документы. Во вторник приедем с нотариусом. Будешь подписывать.

– А если нет? – глупо спросил он.

– Не дури, – посоветовал баритон, – подумай о том, что в жизни дороже денег.

– Философ, блин! – Он нажал на «отбой» и шваркнул телефон на сиденье.

Минут через двадцать он вышел из машины и зашел в дом. Там громко работал телевизор. Молодая жена лежала на диване и ела виноград.

– Привет, – бросила она.

Он кивнул и поднялся на второй этаж, в свой кабинет. С лестницы крикнул:

– Сделай потише!

Жена не услышала. Он сел за стол и стал просматривать бумаги. Ничего нельзя сделать. Ничего. Таких денег он достать не смог. Ни дом, ни машина ничего не покрывали. За все приходится платить. За все ошибки. Готов он к этому или не готов, а деваться некуда. На него навалились дикая усталость и тоска, поразила мысль о том, что он сам хочет, чтобы все поскорее закончилось. Это потом он будет думать о том, как жить дальше. Только бы на это все остались силы. И еще он подумал, что сейчас надо спуститься и объясниться с женой. Это показалось ему самым невыносимым.

Телевизор продолжал греметь на весь дом, он взял пульт и выключил его. Жена оскорбленно вскочила с дивана.

– Слушай, детка, нужно серьезно поговорить, – начал он.

– Для начала тебе надо научиться уважать меня, – с пафосом произнесла она.

У него едва не вырвалось: «За что?» Он кашлянул и, глядя в окно, начал:

– Дело в том, что, ну, в общем, так повернулось – я потерял бизнес. – Он замолчал, не зная, что говорить дальше. – Наступают нелегкие времена, и жизнь наша должна в корне измениться.

– Что это значит? – Она испуганно смотрела на него.

– Это значит, что я остаюсь не у дел и все наши привычки должны измениться коренным образом. Весь наш образ жизни. Я, конечно, что-нибудь придумаю, по-другому и быть не может, а пока... – говорил он уже четко и почти уверенно.

– Что значит – «пока»? А дом, а машина, а прислуга? – хрипло запричитала жена.

– В жизни все случается, – как можно мягче произнес он. – Значит, пока все будет по-другому. Ты же не всегда жила в этом доме, и у тебя не всегда была прислуга.

– Но я привыкла к этому, ты меня к этому приучил, я уже не смогу по-другому. – Она начала плакать, и он уже почти пожалел ее. – Не навсегда, а на сколько? – опять закричала она. – Мои годы бегут, кому я скоро буду нужна? Ты обманул меня!

Он подумал: бедная девочка, когда-то она была действительно бедной, из простой рабочей семьи, где считали каждую копейку и каждый кусок, где на месяц покупалась пара колготок, а куртка и сапоги донашивались за старшей сестрой. Она так старалась вылезти из этого дерьма, а он жестоко предлагает ей туда вернуться. И он опять почувствовал себя виноватым.

– А дом? Дом записан на меня, – вспомнив, взвизгнула она. – Ты думаешь, я добровольно тебе это отдам? А моя машина? За то, что ты там что-то не просчитал, прокололся, да просто просрал, – за это что, должна платить я? Меня отсюда вынесут только вперед ногами!

– Вынесут, не сомневайся, – кивнул он. А потом чему-то удивился и тихо добавил: – Но ты же моя жена!

– А ты мой муж, и ты обязан сделать так, чтобы я ни в чем не нуждалась. – У нее была своя железная логика.

Он сел в кресло, снял очки, потер пальцами переносицу и устало повторил:

– Дом придется продать, детка. И машину купить попроще.

– А жить, где мы будем жить, на вокзале? – рыдала она.

– Зачем же так, в городе есть квартира, – напомнил он.

– Ты предлагаешь мне жить с твоей мамашей в трешке с восьмиметровой кухней? – У нее началась истерика.

Он надел куртку и вышел во двор. На скамейках и дорожках лежал первый мелкий и сухой снег. Возвышались синеватые елки, над ними простиралось прозрачное голубое небо. Он глубоко вздохнул, нагнулся, взял в ладони снег и растер им лицо.

Это даже хорошо, что все так сразу определилось. Хотя, что душой кривить, на другое он и не рассчитывал. Почти. Если уж признаться до конца себе самому. Почему-то на душе стало легче. Гораздо легче, чем всю предыдущую неделю, пока он ждал, боялся, дергался, просчитывал, надеялся на чудо, наконец. «Все-таки ясность и отсутствие иллюзий – большое дело», – подумал он.

Потом он вывел машину за ворота и впервые понял, что ему некуда ехать. Нет, конечно, была мама и ее уютная старая квартира, где он вырос и помнил каждую трещинку на потолке, где его всегда ждут с тарелкой грибного супа и рады ему любому – пьяному, трезвому, развеселому, печальному, уставшему, больному и здоровому.

Дом, где не будет дурацких и просто лишних вопросов, где его укроют теплым старым пледом и принесут крепкий сладкий чай с лимоном. А он? Имеет ли он право нести в дом к своей немолодой и нездоровой матери себя такого? После чего будут ее бессонные ночи, тихие слезы, валокордин и трясущиеся, усыпанные старческой «гречкой» усталые руки.

Имелись еще друзья, из тех, прежних, молодых и беспечных лет, не слишком удачливые, слегка потрепанные и потерявшиеся в этом жестоком мире, у которых было полно своих нудных и неразрешенных проблем. Наверное, они немного завидовали ему прежнему – успешному и уважаемому, с молодой красавицей женой. С ними он вообще как-то разошелся в последние годы – слишком разные жизни, слишком разные проблемы. Они решали свои – как достроить дощатый дом на шести сотках и поменять восьмилетние «Жигули», а он выбирал острова для отдыха и строил на даче теннисный корт. Да и его молодой жене не о чем было

говорить с «этими старыми квочками». Она собирала свой круг, где все были из новой, благополучной и хорошо пахнущей жизни. И это его, в общем-то, устраивало. Или, скорее всего, так – ему было все равно. Новые приятели? Ну, это вообще бред. Доставить им такое удовольствие! Он усмехнулся. Оставалась гостиница, какая-нибудь тихая, семейная, за городом, где он постарается прийти в себя и отоспаться наконец за все эти безумные недели. И только после подумает о том, как ему жить дальше. Зазвонил мобильный. Он почему-то решил, что это жена, и подумал, что отвечать не будет. Но на дисплее высветился незнакомый номер.

– Это я. – Он не сразу узнал мать своего сына. – Я звоню из больницы! Мальчику плохо, я не знаю, что делать! – почти плакала она. А потом обессиленным голосом тихо спросила: – Ты приедешь?

– Адрес! – крикнул он и резко развернул машину в сторону города.

Всхлипывая, скороговоркой, она назвала ему адрес. Небо затянули низкие серые облака, и пошел мелкий колючий дождь вперемешку со снегом. Он гнал машину, быстро работали «дворники», и приговаривал: «Господи, беда не приходит одна! Воистину!» О жестокая мудрость поговорок! Хотя какие там беды по сравнению с той, что в больнице сейчас был его сын. В приемном покое он сразу увидел ее – простоволосую, зареванную, с опухшим лицом.

Он прижал ее к себе и стал гладить по волосам.

– Успокойся, ну возьми себя в руки, что с ним? – растерянно бормотал он.

Она запричитала:

– Хирургия, хирургия, наверное, сильные боли в животе, там врачи, они решают, что делать.

И она опять громко, в голос, разревелась. Он рванул в кабинет. Там на коричневой клеенчатой кушетке лежал его мальчик – с искаженным от боли и абсолютно белым лицом.

– Сынок! – крикнул он срывающимся на фальцет голосом. – Я здесь!

– Вижу, пап, спасибо, – почти простонал его воспитанный ребенок.

Тут подскочила медсестра и стала громко верещать:

– Папаша, покиньте кабинет!

Он резко стал требовать врача. Через пару минут вышел высокий и очень молодой врач и, смущенно поправляя очки на длинном носу, пытался объяснить, что нет ничего страшного и, скорее всего, это банальный аппендицит, что, конечно, редкость в этом столь юном возрасте, но и такое бывает. Сейчас мальчика повезут на УЗИ, а потом в оперблок, и через пару часов все будет в полном порядке.

Он схватил врача за руку и тихо спросил:

– Вы меня не обманываете? Вы говорите правду?

Врач покраснел и выдернул свою руку, а потом строго сказал:

– Держите себя в рамках. Я все понимаю, но вас много, а мне еще нужно работать.

Он смутился, часто закивал и крикнул доктору уже вслед:

– Спасибо!

Потом они увидели, как их мальчика на каталке повезли в отделение. Он слабо махнул им рукой. Они сели на жесткую кушетку рядом и притихли. Время тянулось бесконечно. Казалось, что минуты превратились в часы, а часы в сутки. Она начала сбивчиво ему рассказывать, как у мальчика заболел живот, а потом его вырвало, и он стал плакать от боли. Она то повторяла это снова, то опять начинала плакать. Он крепко сжимал ее руку. Когда появился врач, оба вскочили с кушетки и бросились к нему.

– Все нормально, все прошло удачно. Сегодня вас туда не пустят, а завтра, скорее всего, да. – Он развернулся и, не прощаясь, устало пошел обратно в отделение.

– Как он? – почти хором выкрикнули они.

Врач опять повернулся к ним и удивленно сказал:

– Все хорошо, вы что, не поняли?

Она уткнулась бывшему мужу в плечо:

– Я не уйду отсюда, никуда не уйду.

– Это глупость, – объяснял он терпеливо. Он умел взять себя в руки. – Как ты будешь здесь всю ночь? Ты только измучишь себя. Тебе надо выспаться, чтобы завтра быть в форме. Я отвезу тебя домой, а завтра заберу и привезу сюда.

Она плакала и кивала. Он надел на нее пальто, и она покорно пошла за ним. В машине они молчали. У дома она кивнула ему:

– Спасибо!

– За что, дурочка ты, – удивился он. – Иди, завтра я в девять у тебя.

Он ехал в гостиницу, думая о том, какая это все ерунда, все его ничтожные дела. Все это чужь и тлен. Важно только одно – чтобы у мальчика сейчас было все нормально. Вдруг он понял, что страшно голоден, и увидел перед собой «Макдоналдс», который так любил его сын. Он зашел туда и заказал два самых больших бургера, две картошки, пирожок и колу. Раньше он никогда не ел эту еду. Сейчас она показалась ему восхитительной. Такого удовольствия он не получал даже, кажется, от устриц.

Она зашла в квартиру и везде включила свет. Дом без мальчика казался чужим и враждебным. Потом она долго стояла под горячим душем, выпила чаю и легла в кровать. «Боже, – подумала она, – сколько прошло лет, сколько боли и слез, сколько обид и претензий друг к другу, у него совершенно другая, параллельная жизнь! А я все еще люблю его, как глупо и нелепо, наконец. Ведь мне уже тридцать семь, а я и думать не могу ни о ком другом. Разве не пробовала? Идиотка, дура набитая! Сама сбежала. А разве можно было так жить? С этим эгоистом, упрямым, принимающим только свое мнение и свою точку зрения. Жестким и жестоким порой. Таким чужим и таким родным».

Потом она вспомнила свои романы – дурацкие и короткие, которые заканчивались всегда только по ее вине, потому что никто и никогда так и не сумел занять его место. Она вставала, бродила по квартире, опять пила чай, сидела в комнате сына, а потом усталость все же свалила ее, и под утро она уснула.

Он приехал в маленькую знакомую гостиницу за городом, попросил чаю, посмотрел новости и решил, что надо быстро уснуть – завтра тяжелый день. У него получилось – заснул он почти сразу. Утром, когда он подъехал к ее дому, она уже стояла у подъезда – сосредоточенная, бледная, с плотно сжатыми губами. До больницы доехали молча, а там она опять заметалась, и он пошел искать палатного врача. Врач строго сказал, что пустит одну мать, да и то ненадолго. Она была счастлива и этому.

– Езжай, у тебя ведь дела, – уговаривала она. – А я посижу здесь, пока не выгонят.

– Я не уеду, – отрезал он.

Она удивилась, пожала плечами. Разве он мог объяснить ей, что ехать ему некуда и не к кому, да даже и не в этом дело. Просто он четко понимал, что его место сейчас здесь, рядом с ней и сыном. От мальчика она вышла спустя час, успокоенная и даже чуть улыbnулась ему.

– С ним все в порядке, он заснул. Уже завтра его можно будет покормить – кашу, тертое яблоко, – объяснила она. – Поедем? – Она дотронулась до его руки.

– Тебя домой? – спросил он.

– Только не домой, там я сойду с ума. Выкинь меня где-нибудь в центре. Пошатаюсь по улицам, зайду в магазин, только бы не быть дома одной.

– Возьми меня с собой, – тихо попросил он.

– У тебя что-то случилось? Что-то серьезное? Не лги, я же чувствую, я тебя знаю. Можешь не говорить ничего, только скажи, что я права и что это не опасно для жизни.

Он внимательно посмотрел на нее, раздумывая несколько минут, а потом кивнул и четко произнес:

– Случилось. Моей жизни ничто не угрожает. Это не опасно. – И добавил: – А может, даже и наоборот.

– Что – «наоборот»? – не поняла она.

– Не опасно, а, скорее всего, полезно, – усмехнулся он.

– Так бывает? – удивилась она.

– А я и сам не предполагал, но бывает, – кивнул он.

Они прошли всю длинную Тверскую пешком, зашли в книжный, что-то обсуждая, купили книги, потом еще альбом и фломастеры мальчику. Потом, проголодавшись, ели горячую пиццу с тягучим и острым сыром, долго пили кофе за столиком у окна. А к вечеру, когда они подъехали к ее дому, она сказала ему: «Спасибо тебе за все» – и, не прощаясь, вышла из машины. Он постоял еще минут двадцать у подъезда, посмотрел, как зажглись окна в ее квартире, развернулся и поехал за город, в свое временное пристанище.

На следующий день он встретился с теми людьми, номер которых не определялся на мобильнике и которые определили его судьбу. Все произошло быстро и просто. Это создавать и созидать было невыносимо долго и трудно, а потерять оказалось неправдоподобно легко. Всего пару часов. Вечером он поехал в больницу и передал мальчику книгу – последнего «Гарри Поттера». В палату его уже не пустили. Он позвонил ей, и она долго и подробно рассказывала ему о сыне – о том, что он говорил, сколько спал и что съел на обед. Он слушал и улыбался.

– Послезавтра, даст бог, выпишут. Ты нас заберешь? – спросила она.

– Это не обсуждается, – ответил он.

Накануне выписки она долго и тщательно прибирала квартиру, сварила курицу и клюквенный кисель для мальчика. Утром надела лучший выходной свитер и легкие, не по погоде, сапоги на высоком каблуке.

Он ждал ее внизу в машине. Она села и увидела букет ее любимых тюльпанов – желтых и фиолетовых.

– Это мне? – удивилась она.

Он кивнул:

– У нас же сегодня праздник.

Она промолчала. Мальчик вышел бледный и похудевший. Увидев их рядом, он счастливо разулыбался и взял обоих за руки. В машине он не умолкал ни на минуту, рассказывая о том, как он хочет есть, как соскучился по своей комнате и по компьютеру и даже по своей кровати с Микки-Маусами. Потом он рассказывал про врачей – кто добрый, а кто злой, про новообретенных больничных приятелей и про «вредные и болючие уколы». У дома он спросил отца с надеждой:

– Пап, ты зайдешь?

– А куда я денусь, – смущенно сказал отец.

– Я покажу тебе новые рисунки, – обрадовался мальчик.

Дома они съели курицу, выпили чаю, и он ушел с сыном в его комнату. Она осталась на кухне. Когда он стал надевать в коридоре пальто, сын еще что-то возбужденно щебетал, крутясь возле него. Она вышла в коридор и попросила сына оставить их наедине. Мальчик ушел к себе, плотно закрыв в комнате дверь.

– Тебе некуда идти? – тихо спросила она.

Он молчал.

– Хочешь, оставайся, я лягу в детской.

Он отрицательно покачал головой и вышел из квартиры. Она закрыла за ним дверь и бессильно прислонилась к ней спиной. Зачем, зачем она это сказала, какой бред, бредовее ситуацию и представить невозможно. Стыдно как, господи, и нелепо. Что ты себе придумала, старая дура, что уже успела насочинять?

Она ушла к себе в комнату и, не раздеваясь, легла на кровать. От усталости за все эти дни она быстро уснула, и разбудил ее звонок в дверь. Посмотрела на часы – было около часа ночи. Она быстро вскочила и испуганно бросилась к двери, в глазок увидела его. Несколько секунд она стояла у двери – бешено стучало сердце. Потом открыла. Он долго смотрел на нее, а потом смущенно кашлянул и спросил:

– Приглашение еще в силе? В смысле предоставления спального места?

– Рассматривается только долгосрочная аренда, – отозвалась она и пропустила его в коридор.

## Алик

Соседей, как и родственников, не выбирают. Хотя нет, не так. С несимпатичными родственниками ты можешь позволить себе не общаться, а вот с соседями – хочешь не хочешь, а приходится, если только совсем дело не дойдет до откровенного конфликта. Но мы же интеллигентные люди. Или пытаемся ими быть. Или хотя бы казаться. Да еще есть такие соседи, от которых никуда не деться. В смысле, не спрятаться. Особенно если вы соседи по даче, участки по восемь соток и у вас один общий забор. В общем, секс для бедных.

Хозяин дома, Виктор Сергеевич, отставник, человек суровый и прямой, был категоричен и считал, что с соседями точно не подфартило. А вот его супруга Евгения Семеновна, женщина тихая и интеллигентная, учительница музыки, была более терпима и к тому же жалостлива, впрочем, как почти любая женщина.

Теперь о том, кого она жалела.

Соседская семья состояла из четырех человек: собственно хозяйка, глава семьи и рулевой Клара Борисовна Брудно, мать двоих детей и женщина практически разведенная, но об этом позже; двое ее детей – сын Алик и дочка Инка; и престарелая мать, Фаина. Без отчества. Просто Фаина.

Теперь подробности. Клара была женщиной своеобразной. Крупной. Яркой. Шумной. Все это мягко говоря. Если ближе к реалиям – то не просто крупной, а откровенной толстухой. Объемным было все – плечи, руки, грудь (о да-а!), бедра, ноги, живот. Все – с излишком. Яркой – да, это правда. Лицо ее было преувеличенно рельефным – большие, темные, навывкате глаза, густые брови, мощный, широкий нос и крупные, слегка вывернутые губы. Все это буйство и великолепие обрамляли вьющиеся мелким бесом темные и пышные волосы, которые Клара закручивала в витиеватую и объемную башню. Дополнялось все это яркой бордовой помадой и тяжелыми «цыганскими» золотыми серьгами в ушах. Полные руки с коротко остриженными ногтями, на которых толстым и неровным слоем лежал облупившийся лак. Одевалась она тоже – будьте любезны: в жару тонкое нижнее трико по колено, розовый атласный лифчик, сшитый на заказ (такие объемы советская промышленность предпочитала не замечать), а поверх всего этого надевался длинный фартук с карманом. Если спереди вид был куда-никуда, то когда Клара поворачивалась задом... Картинка не для слабонервных.

Хозяйка она была еще та – к мытью посуды приступала, только когда заканчивалась последняя чистая тарелка или вилка. А обед она готовила так: в большую, литров шесть, кастрюлю опускала кости, купленные в кулинарии по двадцать пять копеек за кило. Это были даже не кости, а большие и страшные мослы, освобожденные от мяса почти до блеска. Они вываривались часа три-четыре, потом щедрой рукой Клара кидала в чан крупно наструганные брусочки картошки, свеклы, моркови и лука. В довершение в это гастрономическое извращение всыпалась любая крупа: гречка, пшено, рис – все, что оказывалось в данный момент под рукой. Этот кулинарный шедевр Клара называла обедом. Готовился он, естественно, на неделю. То же страшноватое варево предлагалось заодно и на ужин. Хлеб, правда, что на обед, что на ужин, резался щедро, крупными ломтями – батон белого и буханка черного.

По выходным (читай, праздник) делалась немислимая по размеру яичница – праздник для детей, но и это нехитрое блюдо Клара умудрялась испортить, добавляя туда отварную картошку и вермишель. Хотя понять ее было можно – все постоянно хотели есть, особенно старая Фаина. Фаина эта вообще была штучка – крошечная, сухонькая, с тощей седой косицей, в которую непременно вплеталась сеченная по краям мятая атласная ленточка грязно-розового цвета, тоже выдавшая виды. Считалось, что Фаина занимается огородом – Клара ее называла Мичуриным. Действительно, она маячила на участке весь световой день – что-то перепалывала, рыхлила, пересаживала. Не росло ничего. Даже элементарный лук вырастить не получа-

лось, не говоря об огурцах, редиске и прочем. Потом она додумалась удобрять свое хозяйство отходами человеческого организма, помешивая весь этот ужас длинной палкой в старой жестяной бочке. Но тут не выдержала даже спокойная Евгения Семеновна и попросила прекратить эти опыты. Примерно в час дня Фаина взывала к совести дочери и требовала обед.

Клара громко возмущалась:

– Такая тощая, а столько жрешь!

Фаина оправдывалась:

– Я же занимаюсь физическим трудом.

– Ха! – громогласно, участков эдак на пять, восклицала Клара. – А где результат твоего труда?

Домочадцев она называла иждивенцами, правда, о каждом говорила с разной интонацией. О Фаине – с легким презрением и пренебрежением, о сыне Алике – гневно и почти с ненавистью, а о дочке Инне – с легкой и нежной иронией.

Инну, довольно хорошенькую, молчаливую и туповатую кудрявую толстушку, Клара обожала, это была ее единственная и ярая страсть. На улицу, где шла вольная жизнь местных детей, девочка выходила молча, бочком, на велосипеде не каталась, в салки и казаки-разбойники не играла, тихо посапывая, сидела на бревне и жевала горбушки, распиханные по многочисленным карманам грязноватого сарафана. Брата ее Алика тоже всерьез особо не принимали – тощий, носатый, с вечными соплями, хлюпающий ханурик в сатиновых трусах. Ни толку от него, ни проку. Но его жалели, не гнали и, всегда неохотно вздыхая, брали в игру. Клару, конечно же, осуждали. Два родных ребенка – и такая разница в отношении! Допустим, бывают у матери любимчики, хотя это странно, но факт – бывают. Но чтобы одного ребенка так откровенно, не стесняясь, лелеять, а второго, мягко говоря, не замечать! Впрочем, все они там были с большими прибабахами.

– Иннуса! – сладким голосом кричала Клара, стоя на крыльце подбоченясь.

– Чего? – не сразу откликнулась дочь.

– Иди, солнышко, кофе пить, – ворковала Клара.

Конечно, это был не кофе – кофе был им просто не по карману, – а какое-то пойло, дешевый напиток, но к нему полагались пряники или овсяное печенье, немислимые лакомства, достававшиеся из глубоких и никому не ведомых Клариных тайников. Клара и дочка усаживались на веранде и начинали пировать. Фаина сидела на грядках и водила носом – ее на эти пиршества не приглашали, а Алика и подавно. Евгения Семеновна не выдерживала, подходила к общему забору и тихо выговаривала Кларе – за мать, за Алика. Клара не обижалась, а отвечала спокойно:

– Что вы, Евгения Семеновна, Фаине кофе вредно, спать ночью не будет. А этот малахольный и так по ночам ссытся – это в тринадцать-то лет! Ну их! – махала рукой Клара, облизывая крошки с толстых, накрашенных губ.

Евгения Семеновна качала головой и Клару осуждала:

– Ведь он тоже ваш сын, Клара, а как приемыш, ей-богу.

– Ох, – вздыхала Клара, закатывая глаза, – вы же знаете, Евгения Семеновна, Алик у меня от этого изверга (так обозначался первый Кларин муж). Такой же шаромыжник растет, как его отец. Ни тпру, ни ну. Нахлебалась я с ним – во! – Клара проводила рукой по горлу. – Ну, сами знаете, – деловито добавляла она. – Не жизнь была – пыточная камера. А Иннуса, – взгляд ее влажнел и останавливался, – знаете ведь, от любимого человека. И это большая разница! – Клара назидательно поднимала похожий на сардельку указательный палец.

– Бросьте, Клара, – сердилась Евгения Семеновна, – дети тут ни при чем. Сначала рожаете от кого попало, а потом свои обиды и комплексы на них вымещаете.

Клара тяжело вздыхала – соглашаться ей уже надоело, это было не в ее характере. Тогда она укоряла соседку.

– Вы, Евгения Семеновна, пе-да-гог, – произносила она по слогам. – У вас все по науке, а жизнь – это жизнь. – И, не выдерживая, начинала хамить: – Да и что вы в этом смыслите! Своих-то у вас нет! – И, развернувшись, чувствуя себя при этом победительницей и единственно правой, она с достоинством удалялась от забора, демонстрируя несвежее фиолетовое трико.

Евгения Семеновна расстраивалась, даже плакала – от обиды и хамства. Уходила в дом и переживала, долго, до вечера. Муж ее ругал:

– Куда ты лезешь! Дура ты, а не она! Нашла с кем связываться – с этой непробиваемой хамкой и торгашкой. Удивительно, – кипятился он, – ну, ничему тебя жизнь не учит. Сиди на участке и не лезь в чужие жизни.

– Мне ребенка жалко! – всхлипывая, оправдывалась Евгения Семеновна.

– Заведи себе кота, – резко бросал муж и хлопал дверь.

Прожив долгую жизнь, внутренне они так и не смирились со своей бездетностью. Дернул же черт Евгению Семеновну тогда, зимой 79-го, в страшный мороз и гололед, будучи на шестом месяце, отправиться с подругой в кино. Идти не хотелось, но, как всегда, было трудно отказаться. Упала она почти у подъезда – страшно ударилась затылком, так что не спасла отлетевшая в сугроб песцовая шапка. Потеряла сознание, и сколько пролежала она на льду, одному богу известно. У нее было сотрясение мозга, ночью начались боли и рвота. Ребенка она потеряла. Как следствие – сильнейший стресс, депрессия, жить тогда вообще не хотелось. Вылезала из этого годами, с невероятным трудом. Усугубляло еще и страшное чувство вины – перед младенцем, а главное, перед мужем. Забеременеть ей так больше и не удалось – сколько ни старалась, ни лечилась. Чувствовала, что муж ее так и не простил, хотя сказал всего одну фразу: «Эх, Женя, Женя...»

К сорока годам, поняв окончательно, что борьба бессмысленна, робко заговорила с мужем о возможности взять младенца в детском доме. Он тяжело посмотрел на нее и сказал:

– Нет, Женя, чужого не полюблю. – И добавил: – Раньше думать надо было.

Тогда она еще раз убедилась – не простил. Значит, не простит никогда. Жизнь была ей тягостна и порой невыносима – к чудовищной, неустанной боли прочно приклеилось чувство неизбывной вины. И каждый раз, глядя на небрежное Кларино материнство, она думала о все-ленской несправедливости – такой, как эта, Бог дал двоих, а ей – ни одного. За что, Господи, за один необдуманный шаг, даже не за проступок, – и такая кара, такая непосильная плата. Ах, какой бы она могла быть матерью!

Бездетные женщины обычно испытывают к чужим отпрыскам либо полное безразличие и неприятие, либо глубокую и тщательно скрываемую нежность и жалость.

Евгения Семеновна жалела неприкаянного Кларино сына Алика, переживая и яростную обиду, и тихую скорбь, и непреодолимое желание обогреть, накормить и просто обнять, прижать к своему изболевшемуся сердцу. Пару раз, в бессонницу, ей приходила в голову дикая мысль – забрать Алика у Клары. В том, что та легко откажется от него, Евгения Семеновна практически не сомневалась. Мысленно она выстраивала свои долгие монологи, переходящие в не менее долгие диалоги с Klarой. Монологи ей казались убедительными, основанными на убежденности в Кларином благоразумии. Аргументы были бесспорны: «Ты одна, бедствуешь, двоих тебе не поднять. Рвешься, бедная, бьешься. А мы – обеспеченные люди: прекрасная квартира в центре, машина, дача; да-да, конечно, у тебя тоже, но ты все же не равняй кирпичный дом с печкой и душем и твою, прости, Клара, развалюху. А образование? У Алика, между прочим, прекрасный слух. Музыканта, конечно, из него не выйдет, поздновато, а так, для общего образования... И библиотека у нас прекрасная. И у него будет отдельная комната».

Словом, все «за». Евгения Семеновна представляла удивленное Кларино лицо. Скорее всего, она не согласится сразу, нет, конечно, Клара расчетлива и примитивно хитра. Наверняка

сначала схамит – типа, в своем ли вы уме, Евгения Семеновна? А потом придет в себя, подумает, прикинет выгоду от этого предприятия и наверняка согласится.

На самый крайний случай у Евгении Семеновны имелся последний довод склонить соседку на сделку – старинная наследная брошь, даже не брошь, а какой-то орден, что ли, в общем, звезда, острые лучи которой были плотно усеяны разной величины бриллиантами, а в середине располагался довольно крупный кровавый рубин. Звезду эту перед смертью ей сунула тетушка, сестра матери, за которой Евгения Семеновна ходила последние три года перед ее смертью. От мужа она этот подарок утаила, и из-за этого тоже умудрялась страдать. Но сильнее оказалась постоянно точившая мысль, что в конце концов, по всей логике, он все же ее бросит, уйдет, заведет себе ребенка на стороне, непременно уйдет. А эта цацка – все же кусок хлеба на черный день, на одинокую старость. Вполне себе оправдание. Теперь она думала, что предложит Кларе эту самую звезду, та, конечно, не сможет отказаться – такое богатство! Инночкино приданое.

Но после этих изнуряющих монологов Евгения Семеновна понимала, что без мужниного слова начинать беседу с Кларой невозможно. Пыталась завлечь Алика в дом – не только из корыстных целей, а в первую очередь из жалости. Звала его, он заходил – боком, потупив взор: тощий, взъерошенный, грязный, нелепый. Она его сажала на кухне и кормила бутербродами с дефицитной сухой колбасой, щедро сыпала в вазочку шоколадные конфеты, и сердце ее сладко замирало, когда этот, в сущности, неприятный чужой ребенок, вытирая мокрый нос тыльной стороной грязной, с нестриженными ногтями, руки, жадно глотал куски, неловко разворачивал конфеты, нечаянно проливал чай, тихо говорил «спасибо» и пятился к двери.

– Алик! – кричала она ему вслед. – Завтра заходи непременно!

Еще больше смущаясь и мучительно краснея, он кивал, своим худым телом почти просачивался в узкую щель калитки – и убежал на свободу.

Она пыталась заводить разговор с мужем издалека, подобострастно спрашивая:

– Чудный мальчишка, правда?

Муж поднимал на нее глаза, несколько минут молча смотрел и, тяжело вздыхая, говорил:

– Займись чем-нибудь, Женя. Полезным трудом, что ли. Или иди почитай. – И, помолчав, добавлял: – Не приваживай его, Женя, это неправильно. Там семья и там своя жизнь. Это все не нашего ума дело. И не придумывай себе ничего. – Он резко вставал из-за стола и бросал ей: – А парень, кстати, действительно малахольный, эта дура Клара права. Дикий какой-то и грязный, – заключал он, брезгливо сморщившись.

Евгения Семеновна поняла, что ничего из ее затеи не выйдет. Никогда, никогда муж не согласится взять Алика. И чутье ей подсказывало: «Даже не вздумай начинать с ним этот дурацкий разговор. Из дур потом до конца жизни не вылезешь». Муж был человек резкий и без церемоний. В общем, затею эту она оставила и думать об этом себе запретила – еще одна зарубка на сердце. Мало их, что ли? Подумаешь, еще одна. Оставалось только по-воровски, в отсутствие мужа, зазывать Алика на чай. И мысленно голубить его, стесняясь своих чувств, – дотронуться до него она не решалась.

А у соседей разгорались очередные страсти. Обычно за лето два-три раза наезжал бывший Кларин муж, отец Алика. Клара называла его хануриком. Он и вправду был ханурик – тощий, носатый, с тревожным взглядом бегающих глаз, с тонкими, какими-то острыми пальцами, теребящими угол рубашки или брючный ремень. Приезжал он скорее к Кларе, чем к Алику. Алик его тоже особенно не интересовал, а Клару он продолжал страстно обожать – и это было видно невооруженным глазом. От станции он шел быстро, вприпрыжку, задирая ноги в растоптанных коричневых сандалиях. В правой руке держал выдавший виды дешевый дерматиновый портфель, а в левой торжественно нес картонную коробку с бисквитным тортом – Клара обожала сладкое. Ни о каком подарке сыну – ни о самой дешевой пластмассовой машинке, ни о паре клетчатых ковбоек, ни о новых брюках – речи не было, ему это и в голову не

приходило. Ехал он повидаться с любовью всей своей жизни, коварно ему изменившей когда-то с его же начальником. Он долго маялся у калитки, не решаясь войти, и, покашливая от волнения, срывающимся на фальцет голосом жалобно вскрикивал: «Клара, Клара!»

Клара не слышала – она была в доме, варила обед. На участке копошилась Фаина, на крики бывшего зятя особо не реагируя. Спустя примерно полчаса она поднимала голову и спрашивала недоуменно:

– Чего орешь?

– Фаина Матвеевна, – жалобно просил он, – позовите, пожалуйста, Кларочку.

Фаина распрямлялась, не спеша терла затекшую спину, еще минут десять думала, а стоит ли вообще реагировать на просьбу этого товарища, и, повздыхав, медленно направлялась к дому позвать дочь. Клара возникала на крыльце – гордый вид, руки в боки.

– Ну, – кричала она с крыльца, – что приперся? Чего надо?

– Кларочка, можно зайти? – заискивал бывший муж и уже просовывал узкую ладонь в щель между штакетником, пытаясь скинуть ржавый металлический крючок, запиравший калитку изнутри.

Клара, в той же воинственной позе, подбоченясь, с ножом или поварешкой в руке, молча и неодобрительно смотрела на эти действия.

Жалко улыбаясь, отец Алика протискивался в калитку и шел по тропинке к дому, но вход туда перегораживала мощным телом любовь всей его жизни – Клара.

Ничего-ничего, главное – пустили, радовался он и присаживался на шаткой скамеечке у дома, ставил коробку с тортом, вынимал клетчатый платок и долго и тщательно вытирал им вспотевшее лицо.

– Жарко! – оправдывался он.

Клара молчала. Тогда, поняв в очередной раз, что здесь ему ничего не предложат, он жалобно просил принести ему водички. Так и говорил – «водички».

Клара слегка медлила, потом разворачивалась и уходила в дом за водой, а он вытягивался в струнку, трепеща, сладко замирал, с восторгом и страстью глядя на ее еще крепкие ноги и могучие ягодицы, грозно перекатывающиеся в фиолетовом трико.

Клара выносила воды в ковшике – еще чего, в чашке подавать. Он жадно пил, а она с ненавистью смотрела на его острый кадык.

– Ну! – повторяла она нетерпеливо.

Бывший муж мелко и торопливо кивал головой, приговаривая:

– Да-да, конечно, сейчас, сейчас, Кларочка. – И дрожащей рукой суетливо вытаскивал из кармана брюк мятый конверт. – Здесь все за четыре месяца, Кларочка, – суетился он.

Это были алименты на Алика.

Клара открывала конверт, пересчитывала деньги, результатом, видимо, довольна не была, но настроение у нее явно улучшалось.

– Чай будешь? – великодушно спрашивала она.

Бывший муж счастливо кивал – не гонит, не гонит, еще какое-то время он побудет возле нее! Они заходили в дом, и он подобострастно спрашивал:

– Как дети, как Инночка?

Не как Алик – родной сын, а как Инночка – материнское счастье, родившаяся от соперника. Знал, чем потрафить. И Клара извергала свой гневный монолог – денег не хватает, бьется, как рыба об лед, мать совсем в маразме, все постоянно просят жрать, рвут ее буквально на куски – поди подними двух детей!

– Алик – бестолочь! Такой же болван, как и ты! Малахольный, одним словом, – мстительно и с явным удовольствием сообщала Клара бывшему мужу. – Только бы мяч гонять целыми днями, ни толку от него, ни помощи! Инночка, – взгляд при этом у нее теплел, –

конечно, прелесть, единственное утешение в жизни, только это сердце и греет. А так не жизнь, а ярмо и каторга.

Бывший муж усиленно кивал, поддакивал, пил пустой чай и опять вытирал носовым платком мокрое лицо. А Фаина тем временем на скамейке столовой ложкой жадно поедала оставленный бисквитный торт, щедро украшенный разноцветными маслянистыми кремовыми розами. У нее был свой праздник.

– Алика позвать? – напоминала бывшему мужу Клара.

Он оживленно кивал:

– Да-да, конечно. И Инночку тоже.

Клара выходила на крыльцо, и раздавался ее зычный рык:

– Алик, Алик, иди домой, придурь небесная! – И сладко и нежно: – Иннуля, доченька, зайди на минутку!

Инна появлялась быстро – от дома она далеко не отходила. А вот Алик гонял где-то, счастливый, по поселку на чем-то велике, который великодушный хозяин предоставил ему на полчаса – из жалости и благородства.

Инна заходила и садилась на стул – молчком. Отец Алика расплывался в улыбке и гладил ее по волосам.

– Чудная девочка, чудная. Красавица какая! – восхищался он.

Довольная Клара делано хмурилась и жестко бросала:

– Да уж, не твоя порода! Удалась.

С лица бывшего мужа сползала улыбка, и начинали дрожать губы, но отвечать Кларе он не решался. Силы были явно не равны.

– Ну, все, – объявляла Клара. – Некогда мне тут с тобой. Свидание окончено.

Он неловко и проворно вскакивал с табуретки, благодарил за чай, опять гладил Инну по голове и, суетливо прощаясь с Кларой, торопливо шел к калитке. Довольная Фаина провожала его сытыми глазами, затынутыми пленочками катаракты, понимая, что сейчас, когда грозная дочь увидит наполовину пустую коробку от торта, разгорится нешуточный скандал.

По центральной улице, называемой в народе просекой, смешно, прыгающей походкой шел к станции немолодой, тощий и лысоватый мужчина. Заметив стайку местных мальчишек, он, прищурясь, слегка всматривался – один, на стремительно отъезжающем велосипеде, тощий, голенастый и темноволосый, был похож на его сына Алика. Наверное, он, равнодушно отмечал про себя мужчина, но бросал взгляд на часы и не окликал мальчишку. Во-первых, торопился в Москву, а во-вторых, особенно было и неохота. В конце концов, приезжал он сюда не за этим. А то, за чем приезжал, он и так получил. Сполна. И был почти счастлив.

– Видали? – Клара висела на заборе, призывая Евгению Семеновну, сидевшую с тяткой на грядке клубники, к разговору.

Евгения Семеновна поднимала голову, вставая, выпрямлялась. Она бывала почти рада короткой передышке – возиться в огороде не очень-то любила, просто муж очень любил клубнику.

– Видали? – грозно вопрошала Клара. – Шляется, черт малахольный, глаза б мои его не видели. Деньги привез – ха! Слезы, а не деньги!

– Ну, Клара, вы несправедливы, – откликнулась Евгения Семеновна. – По-моему, он человек порядочный, вы за ним не бегаете, да и потом, любит, видно, вас. Простил измену, зла не держит.

– Любит, – возмущенно повторяла Клара. – Еще бы не любил! А вот я его, Евгения Семеновна, терпеть не могла. Ну просто не выносила. Ночью от отвращения вздрагивала, когда он до меня дотрагивался. Лучше с жабой спать, ей-богу.

«Тоже мне, Брижит Бардо», – вздыхала про себя Евгения Семеновна.

– А зачем же вы, Клара, за него замуж вышли? Если он был вам так неприятен? – поинтересовалась она однажды.

– Из-за квартиры, – просто и бесхитростно ответила Клара. – Мы же с матерью жили на Пресне, в коммуналке, в семиметровой комнате. Еще девять семей. А тут хоромы – двухкомнатная, кухня, ванная. Он год за мной ходил, покоя не давал. А я ведь была хо-ро-шень-кая, – грустно вздохнув, по складам произнесла Клара, глядя куда-то вдаль.

Евгении Семеновне верилось в это с трудом. Но, словно желая подтвердить сказанное, Клара упорхнула в дом и тут же вернулась с целлофановым пакетом, полным фотографий.

«И вправду хорошенькая», – мысленно удивилась Евгения Семеновна. Молодую Клару она не знала – эту дачу они с мужем купили всего около десяти лет назад, когда Клара уже выглядела так, как сейчас. В молодости же она была похожа на крупную (ни в коем случае не громоздкую) и светлокожую мулатку – широкий нос, большие круглые карие глаза, пухлые яркие губы, короткие, вьющиеся мелким бесом черные волосы.

Да, тяжеловата, пожалуй, для девушки, но талия имеется, высокая большая грудь, крепко сбитые, сильные ноги. Необычная внешность, яркая, на такую точно обратишь внимание, обернешься.

– Ну?! – нетерпеливо поинтересовалась мнением соседки Клара.

– Хорошенькая, – согласилась справедливая Евгения Семеновна. – Необычная такая.

– Вот именно! – подхватила Клара и грустно добавила: – А в любви никогда не везло.

Покопавшись в пакете, она извлекла на свет еще одно фото и сунула под нос Евгении Семеновне: широко и крепко расставив ноги, стоял солидный и, видимо, высокий мужчина в белой майке и широких брюках. Лицо у него было крупное, значительное, взгляд уверенный и вызывающий. Было видно, что на этой земле на ногах он стоит уверенно и прочно – в прямом и переносном смысле.

– Кто это? – спросила Евгения Семеновна. – Ваша первая любовь?

– Ну, первая не первая, – усмехнулась Клара, – но главная – это точно. Инночкин отец, – спустя минуту добавила она, и глаза при этом у нее увлажнились.

Евгения Семеновна однажды краем уха слышала от Фаины эту историю, банальную донельзя: был нелюбимый, постылый муж, а тут такой орел светлоокий – его начальник. Сошлись, конечно, оба молодые, яркие, горячие, но у того – семья, дети. Правда, он Кларе ничего не обещал – так, увлекся яркой, темпераментной бабенкой. А она возьми да забеременей, да еще и рожать собралась. Он уговаривал избавиться – она ни в какую. Хочу, говорит, частицу тебя иметь. Если не тебя, то хотя бы плоть твою. Он разозлился и бросил ее, непокорную, – ни помощи, ни денег. А она в любовном угаре мужа выгнала – глаза, сказала, на тебя, постылого, не глядят. Лучше одной с двумя детьми, чем такая пытка – каждый день с тобой в постель ложиться и твое дыхание нюхать. Муж, вечный ее раб, из своей же квартиры покорно ушел – только чтобы не раздражать, не злить. Ушел к матери, в барак без удобств на Преображенке, в тайной надежде, что не справится одна с двумя детьми, просто не справится. И позовет. На любовь он давно не рассчитывал. Но гордая Клара не позвала. Страдала, рвалась на части: трехлетний Алик – сын от нелюбимого мужа, обожаемая дочка Инна – от любимого человека, бестолковая старуха-мать. Колотилась, как могла: до школы в детском саду нянечкой, там хоть ели сытно, потом в школьном буфете – уже не так вольготно, но что-то выносила, обливаясь от страха холодным потом. Подъезды мыла в соседнем доме – в своем стеснялась. Потом научилась вязать шапки и шарфы из ровницы – шаблонные, примитивные и бесхитростные, но шерсть была почти дармовая: соседка работала на прядильной фабрике. Нашелся и сбыт – родня этой соседки жила в Рязани, товар забирала с удовольствием. В Москве это не шло, а на периферии, в селах – отлетало будь здоров. Деньги невеликие, но худо-бедно с этого как-то кормились. Работать Клара уже не могла – инвалидность второй группы, что-то со щитовидкой, эндокринка совсем никуда, плюс астма – проклятая шерсть.

Евгения Семеновна представляла, что это была за жизнь.

Образования у Клары не имелось, каких-то способностей, к примеру к шитью, – тоже. Хозяйка она была никакая – ни фантазии, ни вкуса.

В доме нелепо громоздилась старая мебель – неудобные, громоздкие шкафы с незакрывающимися дверцами, шаткие, колченогие стулья, выцветшие линялые занавески, кастрюли с черными проплешинами отбитой эмали. От бестолковой матери, кроме ее пенсии, помощи не было никакой. Оставить детей – кто-нибудь обязательно упадет, колени разобьет, руку вывихнет. Дети, правда, нешебутные, но Алик нашкодить мог с удовольствием, тихо, исподтишка, а Инночка – точно ангел, сидела целый день, смотрела телевизор, не прекращая жевала пряники. Правда, говорить начала после трех, а буквы и к школе никак не могла запомнить. Не хочет – и все. Неинтересно ей. Алик, тот книжки запоем читал и учился неплохо – тройка только по пению и физкультуре. А дочь – двойка на двойке, сидела за последней партой и молчала, в учебниках писателям носы и уши подрисовывала.

– Развивать ее надо, – сетовала с досадой молодая учительница.

А как развивать, если ей все неинтересно? В хоре петь Инночка не хотела, на танцы ее не взяли, в художественный кружок тоже – простой домик с крышей нарисовать не могла.

«Ничего, – успокаивала себя Клара, нежно глядя на спящую дочку. Сердце ее разрывалось от любви. – Ничего, зато хорошенькая, как куколка. Я тебя замуж удачно выдам, за приличного человека, не голодранца. Я тебе судьбу устрою, через себя перекинусь, а устрою. Только на тебя, моя красавица, одна надежда. Не на этого же малахольного, что с него возьмешь – одни убытки!» – И она кидала гневный взгляд в угол комнаты, где на раскладушке, выпростав худющую, в цыпках, голенастую ногу, с полуоткрытым ртом, спал ее нелюбимый сын. Потом, вздыхая, Клара нежно целовала спящую дочь.

На следующее лето Клара приехала на дачу с матерью и Инной. Для Алики удалось выхлопотать путевку в лагерь на Азовском море. Все повторялось четко по сценарию – Фаина бестолково возилась в огороде, с гордостью демонстрируя соседям то жалкий, бледно-желтый, с мизинец, хвостик морковки, то кривоватую свеклу размером с орех, то полведра такой же мелкой картошки.

– Своя! – при этом с гордостью объявляла она.

Клара вздыхала и безнадежно махала рукой. Инна все толстела, грызла то сухари, то печенье, так же сидела кулем на бревне за калиткой, молчала и смотрела на мир красивыми, с яркой синевой, незаинтересованными, туповатыми глазами. Клара в своем неизменном дачном «наряде» варила свои неизменные обеды, стояла подбоченясь на крыльце, нещадно ругая мать, сцепляясь с соседями, всех критикуя и нахваливая свою ненаглядную дочь. Об Алике она не вспоминала.

Он приехал в конце августа сам, на электричке, с маленьким, старым коричневым чемоданчиком – встречать с юга Клара его не поехала. Был он загорелый, сильно вымахавший, голенастый и по-прежнему нелепый и угловатый.

– Явился, малахольный, – тепло приветствовала его мать.

Алик привез всем подарки: пластмассовую, блестящую, с камушками, заколку для сестры, маленький пестрый платочек для бабки и шкатулку из ракушек для матери. Мать повертела в руках шкатулку и бросила:

– Надо на такое говно деньги тратить!

Евгения Семеновна – свидетельница этой сцены – расстроилась до слез и, когда муж уехал в Москву, с гневом выговорила Кларе. Та искренне удивилась:

– Что вы, Евгения Семеновна, да не обиделся он вовсе. Ну правда, что деньги на ерунду-то тратить! Они же у нас считанные!

– Господи, Клара, но вы же не понимаете элементарных вещей! Вы вроде неплохая женщина, сами столько страдали! Откуда же такая черствость по отношению к собственному

ребенку! Мальчик старался, деньги на мороженое не проел, а вы так – наотмашь. Это, конечно, не мое дело, – горячилась Евгения Семеновна. – Но смотреть на это просто невыносимо.

Клара с удивлением взглянула на соседку.

– Ну и не смотрите, Евгения Семеновна, займитесь своими делами. – И, развернувшись, она удалилась в дом.

Евгения Семеновна проплакала весь вечер – благо муж уехал и скрываться было не от кого.

«Господи, куда я лезу? Разве можно научить эту хабалку, это чудовище чувствовать? Бедный, бедный Алик! Несчастный мальчик!»

Вдруг в голову пришла простая и гениальная мысль. Забор! Конечно же, забор! Не жалкий прозрачный штакетник, безжалостно вываливающий на нас подробности чужой непонятной жизни, на которую невыносимо смотреть, а плотный, без единой щелочки, горбыль, высокий, два метра точно. Вот благо, вот спасение. И Евгения Семеновна, успокоившись, решила, что как только приедет на выходные муж, она с ним поделится своими мыслями. А причину и придумывать не надо. Надоели. Просто надоели – и все. Давно надо было сообразить, хватит сердце рвать невольными наблюдениями. Все равно эту халду Клару с места не сдвинуть.

Алика к себе, на свои чаи, теперь она звать стеснялась – уже юноша, не ребенок, возраст сложный, отягощенный обстановкой в семье, обидится еще на эту жалость. Проходя как-то по просеке в местную лавочку за хлебом, столкнулась с ним.

– Как ты вырос, Алик! – Смутились почему-то оба. Вырвалось: – Что не заходишь совсем?

Алик помолчал, а потом тихо бросил:

– Да дела всякие.

Она кивнула.

– Шкатулку ты очень красивую матери привез, – для чего-то сказала она. Он покраснел, опустил глаза, смущенный, понимая, что она слышала Кларину пренебрежительную реплику по поводу его подарка, и грубовато бросил:

– А ей не понравилось, – а потом простодушно добавил: – Лучше бы я вам ее привез.

У Евгении Семеновны сжалось сердце. Проглотив предательский комок в горле, она попыталась ободрить мальчика:

– Ну, в следующий раз, Алик, все впереди.

Чтобы не разреветься, опустив голову, она быстро пошла по тропинке. А он ее нагнал, рванул тонкую тесьму на шее и протянул что-то в кулаке:

– Это вам.

Он разжал длинную, смуглую ладонь, и она увидела там гладкий, отполированный временем и морем голыш с дырочкой почти посередине.

– Куриный бог, – вспомнила Евгения Семеновна смешное словосочетание. – Редкость какая! – подивилась она. – Не жалко?

Алик резко мотнул головой и крутанул колесо велосипеда. Велосипед рванулся вперед.

– Спасибо! – крикнула вслед ему Евгения Семеновна.

Господи, какой тонкий ребенок. Тонкий и несчастный. Опять заныло сердце. На Клару она обиделась за Алика на этот раз глубоко и всерьез, но саму Клару это не очень-то беспокоило. В двадцатых числах августа она с дачи съехала – собирать детей к школе. Алик шел в девятый класс. Инна с трудом переползла в седьмой.

\* \* \*

В мае Евгения Семеновна уже выезжала на дачу – самое время сажать цветы, перекапывать грядки, высаживать рассаду, заполонившую все подоконники и возможные и невозмож-

ные пространства в квартире. Все эти баночки, коробки из-под сока, молока и йогурта очень раздражали ее мужа.

Клара приехала в июне и вела себя как ни в чем не бывало. Обид она не помнила и ссор тоже – хорошая черта. Навалившись на хлипкий штакетник грузным телом, она между делом рассказала, что у Алика открылся внезапно какой-то талант по новому предмету – информатике, даже учитель этой самой информатики отдал ему свой старый компьютер, и Алик сидит за ним с утра до ночи и даже пишет какие-то программы.

– В общем, способности у него, – равнодушно добавила она и переключилась на Инну. Теперь она спрашивала у соседки совета по поводу дальнейшего устройства Инниной судьбы, честно признаваясь (а это ей было нелегко), что учиться девочка совсем не может, тянет еле-еле. Дай бог, чтоб закончила восемь классов. А что потом? В парикмахеры? Хотя, сетовала горестно Клара, не такой судьбы она хотела бы для дочери, не прислуживать, и потом, на ногах целый день. – Может, что посоветуете, а, Евгения Семеновна? – жалобно спросила она.

– А об Алике вы не беспокоитесь? – резко отозвалась Евгения Семеновна. – Ведь если он не поступит – впереди армия. А куда ему армия, он такой неприспособленный, нестандартный ребенок.

Клара беспечно отмахнулась:

– Да поступит он, куда денется? Педагог его сказал, что такого, как он, оторвут с руками и ногами. Факультет какой-то в МГУ, забыла, как называется. А вот с Инночкой что делать, ума не приложу! – И печальный ее взгляд обеспокоенно затуманился.

Инночке меж тем можно было дать лет примерно тридцать: полная, сбитая, ядреная бабенка – какая там школа. Грудь четвертого размера, подведенные прекрасные глаза, умело покрашенный рот, лак на ногтях. «Замуж ей уже пора, а не в школу с портфелем», – думала Евгения Семеновна.

Инна на улицу уже не выходила, а днями сидела на скамейке в саду, грызла семечки и смотрела вдаль. Бывший муж Клары в то лето почему-то не появлялся.

Евгения Семеновна не спрашивала – она была не любопытна, но Клара поделилась сама, видно, ее распирало.

– Ну, как вам это нравится? – с вызовом обратилась она к Евгении Семеновне.

– Вы о чем, Клара? – не поняла та.

– Да я про супруга своего бывшего. Про этого малахольного, – объяснила Клара. – Женился он, представьте себе. На своей же двоюродной сестре. Той – сорок пять, старая дева, придурочная по полной программе. – Клара весьма живо освещала этот сюжет. – Страшная! – с удовольствием отметила она и закатила глаза. – Тощая, на голове три пера, нос до подбородка! А сообразила! В общем, сошлись. – И, помолчав, она добавила: – У нее, между прочим, трехкомнатная на Ленинском.

Это, видимо, задевало ее больше всего.

– Ну так радуйтесь, Клара, – призвала ее справедливая Евгения Семеновна. – Одинокие люди нашли друг друга. Пусть живут.

– Пусть, – вяло согласилась Клара. И опять тяжело вздохнула: – Что делать с Инночкой, ума не приложу.

А Инночка сама разрешила сложный вопрос по поводу дальнейшего устройства собственной жизни. К середине августа Клара, случайно увидев как-то вечером голую Инну, натягивающую на пышное тело ночную рубашку, обнаружила, что дочь беременна. Пропустила это многоопытная, бывалая и ушлая Клара легко. У толстой Инны до шести месяцев живот был практически незаметен. Клара надавала ей по мордасам, а потом долго обнимала и целовала, периодически отстраняя ее от себя и пытая, кто же отец ребенка.

– Инночка, милая, ты только мне имя его назови, – елевым голоском просила Клара. – Только имя! А дальше я все сделаю сама.

Инна молчала и качала головой. Зоя Космодемьянская. Клара пыталась воздействовать то пряником, то кнутом, обещая Инне или свадьбу («Я это устрою!»), или хотя бы алименты («Куда он от меня денется!»). Инна сидела на кушетке и мотала головой.

– Я проведу расследование, я его посажу, – пообещала Клара.

Инна сунула матери под нос здоровущую фигу, а потом сказала:

– Иди отсюда, спать хочу. – И зевнула, широко и сладко.

Конечно, бедная Клара убивалась. Такую свинью подсунула обожаемая дочь – не этот поганец Алик, от которого всего можно ожидать, а Инна, тихушница и домоседка.

– Я, – сокрушалась Клара, – я виновата во всем, проглядела, прошлапила. За такой красоткой (это она о тупой Инне) нужен глаз да глаз. А где мне уследить! – Она уже шла в наступление. – Мне же надо думать о том, как семью кормить. Вон их сколько на моей шее! – Голос Клары постепенно переходил на крещендо.

Евгения Семеновна соседку жалела. Сочувствовала. Пыталась давать нелепые советы типа привлечь милицию – девочке только пятнадцать лет.

Но Инка Кларе пригрозила: мол, только начни копать, уйду из дома, меня не увидишь. Допустить этого Клара не могла. Постепенно она стала приходить в себя и мудро постановила: так – значит, так. Клара набрала побольше воздуха и принялась действовать. Во-первых, отвезла Инну в Москву, в женскую консультацию. Во-вторых, пошла к школьной директрисе – та оказалась нормальной теткой, и они договорились, что формально Инна будет на домашнем обучении и в итоге получит аттестат о восьмилетнем образовании. Потом она поехала в институт, куда Алик собирался поступать, и нашла там декана. Алик уже ходил на подготовительные курсы и писал яркие работы, не было сомнений, что мальчишка – талант и обязательно поступит. Но цель у Клары была другая – выбить для Алика место в общежитии, иначе они не разместятся вчетвером в крохотной хрущобе со смежными комнатами. Декан объяснял, что москвичам общежитие не полагается. Клара из кабинета не выкатывалась, рыдала не прекращая и в общей сложности провела там два с половиной часа. Декан был уже готов жить на вокзале и поселить абитуриента Брудно в своей собственной квартире. Только бы эта сумасшедшая тетка наконец ушла. В итоге общежитие он пообещал. Громко сморкаясь, Клара покинула его кабинет.

Алик был опять задвинут на задворки – Клара устраивала судьбу любимой дочери. В ноябре Инна родила дочку. Клара подолгу вглядывалась в лицо младенца, пытаясь, видимо, разглядеть черты неизвестного участника этой истории. Девочка была похожа на Клару – черненькая, темноглазая, губастая. Внучку Клара полюбила всей душой. Но все же единственной настоящей ее страстью оставалась Инна, которая после родов еще больше раздалась и по-прежнему была невозмутима. Часами стояла с коляской во дворе их московского дома на радость соседкам на лавочке у подъезда – они пытались ее, кто отец ребенка. К суровой Кларе с такими вопросами не обращались, боялись ее гнева. Клара устроилась уборщицей в соседний магазин. Алик жил в общежитии, получал повышенную стипендию. Существовал автономно. Домой заезжал редко. Клару это не заботило.

Летом на дачу выехала вся семья – младенцу нужен воздух. Инна прогуливалась с дочкой по просеке. Особо любопытные совали нос в коляску, где лежала маленькая «Клара». Три раза в неделю Клара ездила в Москву на работу. Фаина продолжала свои аграрные опыты. Алик уехал на шашку куда-то в Центральную Россию – строить коровник. В начале сентября появился – загорелый дочерна, в потертых джинсах и китайских кедах. Привез семье приличные деньги. Клара не сказала ему ни одного доброго слова. Он выпил чаю и уехал в город. Ночевать не остался. Клара решила сдавать московскую квартиру – работать ей было уже тяжело. Дачу нужно было утеплять – готовить к зиме. На Аликовы деньги она наняла рабочих из Средней Азии, поселила их в сарае, и они принялись за дело. Худо-бедно утеплили дом, подправили печку, запасли дров на зиму.

Евгения Семеновна испытывала чувство неловкости. Ее дом – кирпичный, с АГВ и батарееми, с горячей водой и туалетом в доме – всю зиму оставался пустовать. А Кларина хибара, несмотря на все ухищрения, вряд ли выдержит даже несильные морозы. А ведь в доме ребенок и старуха. Измучившись, она наконец решилась на разговор с мужем.

– Пустить их на зиму? – рассвирепел он. – Ты совсем ума лишилась. Это же табор цыганский, все сломают, все засрут. Тебе-то что до них? У них есть квартира в Москве, пусть сами решают свои проблемы. Ты, Женя, полоумная, ей-богу! – И, не доев обед, он резко встал из-за стола.

Конечно, формально он был прав. Этот дом им дался с великим трудом, долго копили деньги, во всем себе отказывали. У Евгении Семеновны, с ее педантичностью, все было аккуратно, в идеальном порядке: кружевные салфетки, шелковые, вышитые ею же наволочки на подушках, ковры, посуда – словом, все наживалось нелегко, береглось и радовало глаз. И вправду, как пустить эту неряху Клару со всей этой оравой? Не приведи Господи, потом до конца жизни не отмоешь и не приведешь в порядок – все разнесут, перебьют, искалечат. Нет, муж, конечно же, прав, как всегда, прав, да и как она может пойти ему наперекор! И правда, у всех своя жизнь, свои трудности. Почему у нее, в конце концов, должна болеть совесть из-за абсолютно чужих, безалаберных людей?

К следующему дачному сезону Евгении Семеновне открылась следующая живописная картина: Инна опять была в положении. На этот раз отец был известен: один из рабочих-таджиков, халтуривших на Клариной даче. Для Инны не существовало условностей, и она всю сожительствовала с новым кавалером по имени Назар – маленьким, тощеньким, чернявым, плохо говорящим по-русски. Назар теперь жил в Кларином сарае – Инна туда ходила на свиданки. Клару эти события так раздавили, что она уже практически не возмущалась – видимо, просто не было сил. В дом она Назара не пускала, и Инна носила ему еду, как собаке, – в миске. Впрочем, прок от него тоже был – он подправил забор, сколотил новую калитку, скосил траву, поправил худую крышу. Клара его терпела.

Инна родила мальчика – чернявого, мелкого и юркого. Назар уехал на родину на побывку и почему-то больше не вернулся. Может быть, его там женили, а может, что-нибудь еще. Словом, пропал, сгинул, испарился. Переживаний на Иннином лице заметно не было. По-прежнему непроницаемая, она катала по просеке коляску с младшим ребенком, а рядом ковыляла уже подросшая девочка. Клара же продолжала тянуть свой тяжелый воз.

А Алик тем временем задумал жениться. У него завязался первый (и последний) серьезный роман. Девочка с соседнего курса, Аллочка, тоненькая, с невыразительным личиком, тихая, скромная, родом из Мончегорска. А какая еще обратит на Алика внимание? Алик влюбился без памяти – первая любовь, первая женщина. После первой совместной ночи сделал ей предложение. Она, конечно же, согласилась. Не из корысти, какая с него корысть? По искренней любви. Алик повез Аллочку знакомить с матерью.

Подбоченясь, Клара стояла на крыльце – заведомо готовая к атаке. Алик с невестой привезли шампанского, большой торт, цветы и игрушки детям. Клара придирчиво осматривала будущую невестку, и по всему было видно, что она не в восторге. Попили чаю, выпили шампанского, и молодые укатили в город. Клара, повиснув на заборе, жаловалась Евгении Семеновне:

– Ни рожи, ни кожи. Тела – и того нет. – Это она про будущую невестку. – Глиста в скафандре. Нищета, голь перекатная, черт-те откуда.

В общем, в невестки Кларе Аллочка явно не подходила и подверглась жестокой критике. То, что молодые жили трудно, в общежитии, учились на сложнейшем факультете, что девчонок было на этом факультете всего шесть и одна из них – Аллочка, поступившая туда без блата и каких-либо денег, то, что молодые подрабатывали по ночам – писали курсовые, дипломы, – то, что девочка скромна, интеллигентна, из хорошей провинциальной семьи и, главное, безумно влюблена в ее сына – ничего в расчет не бралось.

– Нищета, – презрительно кривя губы, повторяла Клара и резонно добавляла: – А зачем нам нищие, если мы сами такие?

Заметим: Инна, отцы ее детей, ее дети, ее тотальная тупость и безделие – все, что с ней связано, критике не подвергалось, ни-ни.

Свадьбу молодые играли в студенческой столовой – на большее денег, естественно, не было. Клара на свадьбу не поехала, правда, не по своей вине – заболели малыши. Конечно же, ничего ужасного, и их нерадивая мать Инна с ними бы справилась, не померла бы – подумаешь, температура. Но Клара бросить Инну в такой ситуации не могла. Алика – пожалуйста. Ничего, переживет. В конце концов, там радость, а здесь беда. Где должна быть верная мать? Евгения Семеновна Кларе позавидовала – живет человек трудно, да, трудно, но ни в чем не сомневается. Никаких душевных мук. Любит так любит. А не любит – ну что поделаешь. Так все и катилось. Фаина заболела, уже не выходила в свой огород и тихо умерла в конце августа. Инна возилась с детьми, Клара билась за хлеб насущный – квартиру они уже не сдавали, зимовать в доме было несладко: из щелей дуло, дети ходили в соплях. Клара работала в двух местах. Почему-то не возникало мысли посадить дома Клару, а молодую и здоровую кобылу Инну отправить на заработки.

А Алик окончил институт и уехал в Америку. Впрочем, контракт он получил еще на последнем курсе – его работой заинтересовался крупный промышленный концерн. Верная Аллочка была, конечно же, рядом. Жили они душа в душу – лучше не бывает. Алик пахал как вол. Сначала квартиру снимали, потом появилась возможность взять ссуду в банке, и они купили дом. Аллочка родила близнецов – Веньку и Даньку. Пошла работать – выплачивать ссуду за дом было нелегко. Наняли няню – молодую девочку из Тирасполя.

Алик передавал матери объемные посылки с тряпками. Клара неизменно возмущалась, демонстрируя Евгении Семеновне очередную блузку или жакет:

– Зачем мне это? Что я – модница какая-то? Я женщина скромная и работающая. – Она подробно изучала ярлыки и наклейки с ценами и раздражалась: – Малахольный, как есть малахольный. Шестьдесят восемь долларов за эту несчастную юбку! Куда мне в ней ходить? На презентацию? Лучше бы деньги прислал!

– Он же хочет доставить вам радость, – увещевала ее Евгения Семеновна. – Вы таких вещей сроду в руках не держали. Будьте справедливы, Клара. Алик – прекрасный сын. Ему сейчас ведь непросто, только на ноги встает, двое детей!

Все напрасно. Клара опять возмущалась.

– А этот дом! – кипела она, – нет, вы посмотрите на этот дом! – Она тыкала в лицо Евгении Семеновне цветные глянцевые фото. – Барин какой, посмотрите на него! Дом ему нужен в два этажа. И еще подвал. Что он там, танцы устраивает?! И говорит, что там так принято. Я же говорю – малахольный.

Доставалось и безобидной невестке Аллочке:

– Нет, вы подумайте, как этой задрыге повезло! Ведь смотреть не на что – тихая, какмышь, а она уже в Америке! Дом у нее, няня! – Клара всхлипывала и утирала повлажневшие глаза. – А Инночка моя – красавица, все при ней, и что она видела в этой жизни?

Евгения Семеновна, вздыхая, махала рукой и уходила в дом. Далее вести диалог с Кларой не было никакого смысла. Материнская любовь слепа, глуха и не поддается никакой логике, впрочем, так же, как и нелюбовь. Не учитывалось, что Аллочка умница и труженица, верная жена и прекрасная мать, а Инна – дура и ленивая корова. У Клары была своя незыблемая правда.

Между тем дела у Алика пошли в гору – он оказался гениальным программистом. Теперь они могли позволить себе многое – ссуду быстро выплатили, купили прекрасные машины, наняли садовника и домработницу, ездили по всему миру. Но при этом оставались такими же скромнягами и трудягами. И конечно, Алик не забывал мать и сестру. Теперь он регу-

лярно переводил им деньги, и в посылках оказывались и норковые шубы, и золотые украшения. Клара, правда, опять была недовольна: не тот цвет шубы, не того размера камень в кольце или что-нибудь еще. Она опять нещадно критиковала сына. Сделала ремонт в квартире, поменяла на даче крышу и забор, съездила с Инной и детьми на море. Алик звонил раз в неделю и спрашивал, не нужно ли еще чего. Нужно было многое. Алик все исполнял по пунктам. А потом решил забрать мать с сестрой и племянниками в Америку. Клара не хотела ехать ни в какую. Аргумент был прост:

– Что я там не видела?

– Клара, вы сумасшедшая, – уговаривала ее Евгения Семеновна. – Это же такая прекрасная и удобная страна! У вас там будет замечательная и спокойная старость. И потом, вы столько всего увидите!

– Что я увижу? – удивлялась Клара. – Кислую рожу своей невестки?

– Ну, знаете! – задыхалась от возмущения Евгения Семеновна.

И все-таки они собрались. Уговорила Клару Инна, сказав: «Может, я там замуж выйду?»

Клара встрепенулась, но продолжала возмущаться и кудахтать. Как собраться, столько дел: продать дачу, квартиру, все оформить. Дело и вправду нелегкое для женщины весьма преклонного возраста. Инна, как всегда, в расчет не бралась. Да и какой с нее толк?

Алик взял отпуск и прилетел в Москву. Купил скотч и коробки, чтобы паковать, спорил с матерью по поводу старых кастрюль с отбитой эмалью и ветхого постельного белья. Клара кричала, что все это нажито непосильным трудом и что она ни с чем не расстанется. Шантажировала Алика, что она никуда не поедет. Инна сидела у телевизора и грызла орехи. Ни в сборах, ни в спорах она не участвовала. Клара обвиняла Алика, что он лишил ее спокойной старости, насиженного места и, наконец, родины. Алик был терпелив, как агнец.

Инна вступала, кричала, что Клара – дура и хочет испортить ей перспективу. Клара ненадолго приходила в себя. Алик продал квартиру, деньги, естественно, положил на Кларино имя.

А с дачей вышло вот что. Клара дала ему доверенность на продажу. Он поехал на дачу и оформил дарственную на Евгению Семеновну, к тому времени овдовевшую и сильно нуждающуюся. Евгения Семеновна, конечно же, от такого царского подарка долго отказывалась, сопротивлялась, как могла, плакала, но Алик был тверд как скала.

– О чем вы говорите, это для меня такая мелочь, – сказал он, понимая, что от денег она просто откажется, не возьмет ни в какую. – Вы для меня столько сделали! Только от вас я и видел в детстве тепло и заботу!

Евгения Семеновна опять заплакала. Алик обнял ее, положил на стол бумагу с дарственной и вышел, оставив ее потрясенной и обескураженной.

Клара об этом, естественно, не узнала. Алик просто положил на ее счет деньги за якобы проданную дачу.

В Америке он снял им квартиру недалеко от своего дома.

– Чтобы семья была рядом, – объяснил он ей.

Но прекрасный, тихий, зеленый район Кларе не понравился.

– Я здесь от скуки помру, – уверяла эта «светская львица».

А вот Брайтон произвел на нее неизгладимое впечатление:

– Там все свое: и магазины, и люди, и океан, наконец.

Алик снял ей квартиру на Брайтоне. Клара опять была недовольна:

– Не хочу жить в чужих стенах. Что я, беженка, что ли?

Алик не стал объяснять, что покупать квартиру дорого и невыгодно. Он просто купил ей квартиру на Брайтоне. С видом на океан.

Инна теперь целыми днями сидела на пляже, подставляя мощное тело лучам солнца. Дети пошли в школу. Клара ходила в магазины и заводила знакомства. У нее была цель –

сосватать Инну. Свой товар она нахваливала усердно, тыча всем под нос Иннины фотографии десятилетней давности.

Про сына говорила небрежно – так, ничего особенного. Всегда был малахольным. Сын, дающий ей неплохое содержание, ее по-прежнему не впечатлял. На его детей она тоже не реагировала, невестку подчеркнуто игнорировала – что о них говорить? А Инниных туповатых отпрысков обожала неистово.

Раз в неделю Алик возил Клару по окрестностям (Инна, кстати, сразу отказалась, заявив, что ей и на пляже хорошо). Клара мрачно комментировала увиденное. Америка не произвела на нее впечатления. Алик приглашал ее на обед в рестораны – японские, французские, китайские, пытался удивить. Клара брезгливо ковыряла вилкой в тарелке. Великая кулинарка Клара!

– У нас, на Брайтоне, вкуснее!

Там и вправду было вкусно. Но мы же не об этом! Алик привозил ее к себе в дом. Кларе не нравились обстановка и Аллочкина стряпня. Аллочка тихо плакала и тихо обижалась. Алик это никак не комментировал.

Инна завела себе любовника – здорового негра-полицейского. В душе, конечно, Клара была не в восторге. Она рассчитывала как минимум на одессита – хозяина магазина женского белья или владельца ресторана из Бендер. Но счастье Инны для нее было законом, и она неумело варила для новоиспеченного зятя борщи. Через два года Инна родила очень смуглую девочку, хорошенькую, как кукла. Эта девочка стала самой пламенной Клариной любовью.

Полицейский на Инне не женился, но к ребенку приходил исправно, грозно предупреждая в дверях Клару:

– No borsch, mam!

Клара с восторгом возилась с черной внучкой, а Инна по-прежнему грела окорока на брайтонском пляже. У нее был свой ритм жизни. И похоже, она была вполне счастлива.

Клара важно прогуливалась по Брайтону с коляской и на каждом метре цеплялась языком. И персики в Москве были лучше, и колбаса вкуснее, и люди добрее, и квартира у нее была чудная. А какая дача! Одним словом, послушать Клару – ее прежняя жизнь была удивительна и роскошна. Америку она ругала нещадно, обвиняя сына в том, что привез ее, бедную, сюда, не считаясь с ней.

– Мне это надо? – грозно вопрошала она и, не дождавшись ответа, двигалась дальше, подталкивая коляску внушительным животом.

Умерла Клара ночью от инсульта, прочтя Инкину записку, что та уезжает с дочкой и своим возлюбленным в Алабаму – навсегда. Клара зашла в детскую, увидела пустую кроватку внучки, открыла шкаф – он тоже оказался пуст. Она упала на пол и не смогла дотянуться до телефона. К вечеру обеспокоенный Алик приехал к ней. Клара лежала на полу со сжатым кулаком.

На похоронах Алик безутешно плакал. Через полицейское управление он нашел алабамских родственников Инниного любовника, но сестра на похороны не приехала.

Алик поставил Кларе памятник из розового мрамора. Написал трогательную эпитафию. Страдал. Не брился. Держал траур. Взял к себе Инниных детей, устроил их в дорогую школу. Продолжал высылать деньги сестре. Заказал у недешевого художника Кларин портрет по фотографии. Повесил его в спальне. Под портретом стояли живые цветы – всегда. На тумбочке у кровати в серебряной рамке стояла Кларина фотография.

Перед сном он тихо бормотал:

– Спокойной ночи, мамочка.

Аллочка вздыхала, долго ворочалась, удивляясь своему мужу. И думала – действительно малахольный, Клара была все-таки права.

И немного стесняясь своих мыслей, Аллочка засыпала, а Алик еще долго не мог уснуть, страдал и смотрел на Кларину фотографию, тонувшую в ночном мраке счастливой семейной спальни.

## Жить, чтобы жить

Катя прибилась к нашей семье в далеких шестидесятых, когда наша бабушка была еще вполне в силе, родители были молоды и здоровы и снимали большую, старую и уютную дачу в Ильинском. На даче, конечно же, настояла бабушка. Допустить, чтобы все пыльное московское лето девочки провели в городе, она не могла. Все бытовые невзгоды бабушка сносила, впрочем, как и все остальное, мужественно. Ради одного святого дела – девочки должны быть на свежем воздухе.

В те годы, правда, с большим трудом, но все же можно было найти молочницу – коров тогда еще держали и в ближнем Подмосковье. Все лето мы с сестрой пили теплое парное (бррр!) молоко и ели свежие, только из-под курицы яйца. Бабушка четко следовала программе: главное – здоровье детей, восстановить его всеми силами, невзирая на равнодушие молодых и бестолковых родителей и возражения собственно детей. В детстве мы с сестрой были еще очень дружны – да что за разница в один год! Это потом у нас появились разные интересы и разные взгляды на жизнь. А в те годы у нас еще были общие куклы, маленькие алюминиевые мисочки и кастрюльки, в которых мы с упоением варили щи из подорожника и компот из рябины. Среди кукол у нас тоже были свои фаворитки. Я, например, больше любила кудрявую и розовую «немку», блондинку Зосю, а сестра выбрала брюнетку Элеонору, умевшую пищать невнятное «мама», если ее сильно опрокинуть назад. На даче, конечно, был абсолютный рай: целыми днями мы играли в старом, почти заброшенном саду, и бабушка нас звала только на обед, после которого следовал обеденный отдых, с обязательной книжкой, потом компот с печеньем – и мы опять на свободе. Теперь уже до самого ужина.

Хозяйка дачи приезжала только раз в месяц – за деньгами. Родители появлялись в пятницу вечером, после работы. В общем, всю неделю – свобода. Хотя за калитку нас не выпускали: мало ли что? Но когда игры и кукольные обеды нам смертельно надоедали, мы висели на шатком заборе и приставали к прохожим. Тогда мы и познакомились с Катей.

Сначала мы увидели, как маленькая девочка с трудом тащит большой оранжевый, в белый горох, бидон, и, конечно, поинтересовались его содержимым. Девочка остановилась, поставила бидон на землю, тяжело вздохнула и объяснила нам, что в бидоне подсолнечное масло. Еще она сказала, что зовут ее Катей и что живет она в поселке постоянно, круглый год, с бабушкой. А родителей ее «черти носят по свету». Мы слушали все это открыв рты. Особенно про «черти носят». И пригласили Катю в гости. Она кивнула и деловито сказала, что сейчас отнесет бидон, а то «заругается бабка». И еще ей надо покормить кур и подмести избу, а уж потом, после всех этих важных дел, она может и зайти к нам. Такое количество дел и важный и обстоятельный Катин тон вызвали у нас, у праздных бездельниц, безграничное уважение. Мы слезли с забора и с жаром принялись обсуждать нашу новую знакомую. Во-первых, бабушку она называет бабкой. Мы сделали выводы. Старуха эта наверняка очень злобная. Да и к тому же как она эксплуатирует бедную сироту! Во-вторых, мы отчаянно позавидовали Катиной свободе. Нас на станцию одних не пускали. А сколько там было всего интересного... Крошечный рынок под ветхим навесом, где бабульки в платочках продавали мелкую морковку с зелеными хвостиками, большие, мятые соленые огурцы и семечки в кульках. А страшного вида мужики раскладывали на газете кучками мелкую серебристую рыбешку – плотву и карасей. Кучка – рубль. Бабушка покупала эту «мелочь» и жарила рыбку к приезду родителей. Отец ее обожал и называл «сухарики». К тому же на станции был длинный стеклянный магазин с названием «Товары повседневного спроса». Спрос тех времен был невелик, но даже эти скудные и убогие прилавки казались нам с сестрой сказочным царством – безвкусные заколки, расчесочки, убогие пуговицы, капроновые и атласные ленты, грубые толстые чашки, нелепые пластмассовые игрушки, пыльные ковровые дорожки, аляповатые кастрюли, блеклые торшеры на тонких

ногах. И мы обязательно канючили и что-то выпрашивали у бабушки – заколку, которая ломалась через полчаса, или резиновый мячик, который умудрялись потерять в тот же день. Еще на станции стояла круглая, с облупившейся на боках желтой краской бочка с квасом и рядом тележка с мороженым. Мы выклянчивали у бабушки эскимо на палочке в серебристой обертке и, конечно, выпивали по большой граненой стеклянной кружке кваса. От кваса наши детские животы раздувались, как воздушные шары, и мы были счастливы. Но бабушка ходила на станцию редко, ворча, что это мы бездельницы, а у нее и так дел невпроворот.

Катя пришла к нам в тот же день, как и обещала, спустя пару часов. Маленькая, крепкая, на плотных не по-детски ногах, с серыми, мышиными волосиками в хвост и редкой челкой. В блеклом, застиранном ситцевом платице и потертых босоножках на босу ногу. Бабушка пристально оглядела Катю и, тяжело вздохнув – было время обеда, – позвала ее за стол.

Катя не отказалась, «спасибо» не сказала, а только с достоинством кивнула и удобно усеялась на табуретку, жадно пожирая глазами стол. На столе стоял обычный для нас обед: винегрет, тертая морковь с яблоками, холодный борщ и котлеты с картошкой.

– Праздник у вас? День рождения? – спросила Катя.

Мы удивились и переглянулись.

– Почему праздник?

– На буднях так питаетесь? – теперь удивилась Катя.

Мы недоуменно переглянулись, а бабушка опять тяжело вздохнула.

После киселя с печеньем мы пошли в сад, где отец построил нам маленький шалаш из досок и веток. Там у нас стояли стол с низкой скамеечкой, детская игрушечная плита и две кукольные кровати. Катя вытащила из кроватей Зосю и Элеонору, долго трогала их блестящие синтетические волосы, поднимала им платья, с удивлением разглядывала кружевные кукольные трусики и резиновые туфельки с носочками. Мы начали играть. Катя со всем соглашалась, подчинялась нам и выполняла все поручения, которые строгим голосом диктовала ей моя старшая сестра. А потом бабушка позвала нас читать.

Читали мы сначала по очереди вслух, а потом еще час – про себя.

– Я вас в саду подожду, – предложила Катя, не выпуская кукол из рук. Она, видимо, представила, как она будет два часа полноправной хозяйкой в шалаше в наше отсутствие.

Но бабушка сказала строго:

– Иди, Катя, домой.

– Завтра приходите? – с надеждой спросила она.

Мы с сестрой растерянно переглянулись. С Катей нам было совершенно неинтересно, и к тому же вполне хватало общества друг друга. Но разве мы, благовоспитанные девочки, могли ответить «нет»?

– Странная какая-то, – обсуждали мы Катю перед сном, лежа в кроватях.

– И вообще, зачем она нам нужна? – вредничала сестра. Она с детства уже была прагматична.

– Пусть ходит, – милостиво разрешила я. – Жалко ее как-то.

И Катя стала приходиться к нам с завидным постоянством. Просовывая крепкую маленькую ладонь в щель забора, она сама открывала калитку и, если мы были заняты, тихо сидела в саду на скамеечке и ждала нас. Однажды мы застали ее в нашем шалаше – она играла с куклами, не замечая нас.

– Положи на место, не твое! – крикнула сестра.

Катя вздрогнула и бросила куклу. В глазах у нее появились слезы. Мне стало жалко ее, и я протянула ей свою любимую Зосю.

– Хочешь, возьми, – предложила ей я.

– Насовсем? – тихо прошелестела Катя.

Я благородно кивнула. Сестра покрутила пальцем у виска. Катя быстро схватила куклу и бросилась к калитке, видимо боясь, что я передумаю. К нам она не приходила три дня. На выходные приехали родители. Сестра рассказала им про куклу. Бабушка возмущалась, а мама отмахнулась: мол, оставьте ее в покое. За что ее ругать? За благородный человеческий порыв?

Отец, правда, тоже был согласен с бабушкой и объяснял мне, что все наши вещи куплены на родительские деньги и уж, по крайней мере, советоваться мы со взрослыми должны. Зачем они сыпали соль на мою рану? Я и так не спала по ночам, вспоминая мою прекрасную белокурую Зою.

Господи, сколько потом я всего теряла в своей жизни! Но, пожалуй, ничего мне так не было жаль, как ту глупую немецкую резиновую куклу.

Катя ходила к нам все лето. Она рассказывала страшные истории про своих «непутевых» родителей, завербовавшихся на Север за «длинным рублем», любящих выпить и повеселиться. Про дядьку-алкаша, гонявшего свою бедную семью с топором по двору, про соседку Нинку, которая «дает» за стакан.

– Что дает? – спросили мы.

– То самое, – коротко ответила Катя.

Про «то самое» мы спросить уже не решились, видимо постеснявшись своей безграмотности.

Все это было для нас и непонятно, и ново и вызывало какой-то (мы чувствовали) нехороший интерес. Катю, успевшую нам уже изрядно поднадоесть, мы все же принимали и просили рассказать еще что-нибудь. Из области неизвестного. В конце лета мама собрала какие-то наши вещи – платья, кофточки, гольфы. Сложила все это в сумку и отдала Кате. Катя вытаскивала по очереди вещи из сумки, придирчиво и внимательно осматривала их, потом все сложила обратно и, гордо кивнув, важно удалилась. Сумка сильно оттягивала ей руку. «Спасибо» она, по-моему, так и не сказала.

– Обстоятельная какая! – смеялась мама. – А вообще-то бедная девочка. Ну в чем она виновата? Кто ее воспитывал?

Тогда я поняла: основная мамина черта – великодушие. Жизнь это впоследствии подтвердила не раз.

Отец тогда, правда, заметил, что подружки у нас могли бы быть и поинтереснее.

Весь год о Кате мы не вспоминали – нам было не до того, а когда снова пришло лето, наша старая знакомая опять возникла. В куклы играть нам было уже неинтересно, да и у нас появилась новая дачная компания. Мальчик Вова, который играл на кларнете, и девочка Нелли, дочь известных художников. Нас уже выпускали за калитку. И на станцию за мороженым мы бегали одни, и в гости к новым друзьям уже тоже ходили без бабушки. А Катя, Катя оставалась при нас, нашим неотъемлемым придатком, нашим бессловесным пажом, нашей тихой тенью, сопровождавшей нас повсюду. Вроде бы она не особенно мешала, но сильно раздражала – это точно. И своим убогим видом, и вечным усердным молчанием, и, как мы теперь стали понимать, непроходимо глупыми и неприглядными историями. Но она от нас не отлипала, видимо искренне считая нас своими близкими друзьями. Прогнать ее мы уже не могли.

К себе она нас никогда не приглашала, но все же однажды мы заявили к ней сами, без приглашения. Любопытство взяло верх. Мы увидели старый, убогий дом-развалюху, и неопрятный двор, и маленькую неряшливую старуху – ту самую «бабку», и молодую полную женщину в помятом платье, спавшую под яблоней с открытым ртом.

– Мамка загостилась, – смущенно объяснила Катя. И тихонько стала нас выпроваживать.

Постепенно дачу мы полюбили и даже стали бояться, что хозяйка Елена Сергеевна может нам в ней отказать. Но этого, слава богу, не происходило, и в конце мая мы заезжали опять. Теперь у нас образовалась большая теплая и душевная компания – поездки на велосипедах на озеро, игра в кинга, гитары, песни и, конечно, романы. Мы с сестрой здорово вытянулись и

превратились в самых высоких девочек в классе, даже стеснялись своего роста. Это сейчас он был бы предметом гордости и больших карьерных перспектив, а тогда...

А вот Катя оставалась такой же маленькой, приземистой, только стала как-то еще шире в плечах и полнее в ногах. Теперь мы говорили только о мальчиках, придумывали небылицы и отчаянно выпендривались друг перед другом. Катю это, кажется, совсем не интересовало.

В девятом классе мы отказались от дачи – бабушке это стало не под силу, и нас отправили в лагерь на море. Там все закрутилось с удвоенной силой – свидания, поцелуи, расставания, дружба «навсегда». Но в последнее школьное лето дачу пришлось снять снова – теперь уже больше из-за бабушки, которая после болезни была очень слаба, и уже мы стали ухаживать за ней. А сами мы в даче не нуждались, воспринимая ее теперь почти как наказание – в Москве было, разумеется, гораздо интереснее.

Тогда, в то последнее школьное лето, Катя возникла вновь – коротенькая, почти квадратная, без какого-либо намека на талию. Волосы она теперь коротко стригла, но, тонкие и прямые, они не слушались ни расчески, ни шипцов, и сестра, всегда острая на язык, смеялась над Катей, говоря, что похожа она на соломенного Страшила из «Волшебника Изумрудного города». И в этом была своя правда.

И тут от Кати появился вполне реальный толк – когда нам надо было сбежать в Москву на свидание, Катя оставалась приглядывать за бабушкой. Грела ей обед, выводила посидеть в сад в старом плетеном кресле. Бабушку Катина забота тяготила, но она терпела, понимая, что стала обузой для нас, молодых девиц. И, вздыхая, отпускала нас, покрывая тайные побеги перед родителями. В награду мы привозили Кате туземные пластмассовые заколки из привокзального киоска, перламутровую помаду, купленную у цыганок в переходе, или колготки с ажурным рисунком. Катя все внимательно рассматривала, с достоинством перебирала и уносила с собой. Так задешево мы покупали свободу и убаюкивали беспокойную совесть.

Осенью, съезжая с дачи, мы опять оставили Кате ненужные вещи – старые джинсы, куртки, остатки косметики – и прочно забыли о ней еще на один год.

Потом мы поступили в институт: я – в текстильный на тогда еще не очень модный факультет моделирования женской верхней одежды, а сестра – в экономический. Началась развеселая пора – студенческая жизнь. Дома мы старались бывать как можно реже – там теперь было совсем грустно и уныло. Тяжело ходила бабушка, уже почти совсем ослепшая. Мама разрывалась между работой и домом, а мы, молодые и здоровые эгоистки, были увлечены своими страстями и такими важными, как нам казалось, делами.

И тут на нашем горизонте снова возникла Катя. На сей раз с чемоданом в руках. Она пила на кухне чай и обстоятельно и деловито рассказывала маме о планах на жизнь – бабка ее померла, непутевая мать опять моталась по свету, а Катя решила устраивать свою жизнь. Наша мама советовала ей получить хорошую специальность повара или парикмахера. Катя кивала и подробно выпрашивала, какая из профессий более доходная. Остановились на кулинарном училище.

– При продуктах все же, – вздохнув, сказала Катя.

Она подала документы, устроилась в общежитие. Заходила она к нам теперь совсем редко, раз-два в месяц. Мы с сестрой бросали ей «привет» и дежурное «как дела?» и убегали в свою распрекрасную жизнь. Она же общалась с нашей мамой, долго пила на кухне чай вприкуску, шумно прихлебывая, и подробно рассказывала о своем житье. Жилось в общежитии ей совсем несладко – драки, скандалы, вечные пьянки. Уж чего только она не навиделась за свою молодую жизнь, но даже она не могла к этому привыкнуть.

А потом окончательно слегла совсем ослепшая бабушка. Мать рвалась между домом и работой, отец старался приходить как можно позже. А мы, молодые нахалки, помогали урывками и кое-как. Как-то получилось, что мама отдала Кате связку запасных ключей и она забегала днем покормить или переодеть бабушку. Заодно что-то подстирывала, прибирала и даже

пыталась приготовить ужин. Мать, конечно, подбрасывала ей денег. Но Катя сначала отказывалась, объясняя свою помощь своим же интересом:

– Я у вас тут душой отдыхаю, днем посплю часок в тишине, чайку попою.

Но деньги потом стала брать, да и подарки тоже – что, впрочем, вполне естественно. Теперь Катя отстаивала шестичасовые очереди в универмаге «Москва» за финским стеганым пальто, австрийскими сапогами на каблуке, югославским костюмом из ангорки... Правда, это помогало мало – несмотря на модные тряпки, Катя оставалась все-таки приезжей. Воистину: девушка может уехать из деревни, а вот деревня из девушки... К тому же в свои двадцать с небольшим она была уже вполне тетка – на вид Кате можно было дать и тридцать, и сорок.

Само собой получилось, что она чаще и чаще оставалась у нас ночевать. Спала в бабушкиной комнате – и это было всем очень удобно. Вставала позже нас, когда мы, уже выпив кофе, прихорашивались в прихожей, готовые к бурному дню. Старалась не попадаться на глаза, не путаться под ногами. И со временем абсолютно подладила под нашу жизнь.

Первой замуж выскочила сестра – все как положено, по праву старшей. Муж ее был студентом консерватории из очень интеллигентной, зажиточной и известной азербайджанской семьи. Его родители – а власть их была очень сильна – настояли на переезде молодых в Баку. Сестра долго сопротивлялась, но все же перевелась в бакинский вуз и подхватила за мужем. Был он записной восточный красавец – высокий, черноглазый, с маленькими жесткими усиками и прекрасными тонкими руками музыканта. Семья мужа приняла сестру настороженно, все очень переживали, что старший (и главный!) сын женился на иноверке. Но в запасе были еще два сына и дочь – в общем, смирились. Свадьбу гуляли три дня, как положено, шумную и роскошную, со всеми атрибутами Кавказа. На свадьбу мы с отцом приехали вдвоем – мать осталась с бабушкой, у Кати были какие-то экзамены. Из Баку мы уезжали с неподъемными баулами – вино, фрукты, цветы. Все, чем одарила нас щедрая восточная родня.

Дома без сестры было невыносимо грустно и одиноко. Зато была Катя. Она потихоньку перевезла из общежития свой нехитрый скарб и стала жить у нас постоянно. В родном доме я тоже долго не задержалась – через полтора года вслед за сестрой ушла «в замуж», как говорила Катя. Впрочем, не совсем так: любимый мой был женат и имел двоих детей, но с женой не жил, оставив ей свою квартиру, а жил в полуподвале мастерской на Кировской. Он был скульптор. В эту мастерскую перебралась и я. Быт наш был скуден и убог: маленькая, плохо отапливаемая мастерская без горячей воды, я студентка, да и его заработки были невелики и к тому же от случая к случаю. Мы бедствовали, но, как водится, в молодости это не воспринимается трагически. К тому же мы были страстно влюблены друг в друга и потому совершенно счастливы.

Умерла бабушка, и на похороны приехала моя глубоко беременная сестра. Ночами мы вели с ней бесконечные разговоры, и она призналась, что стала покорной мусульманской женой – обеды, уборки, бесконечные родственники, преимущественно мужского пола, где она постоянно подает, убирает и опять подает. Она тихо, чтобы не узнали родители, плакала и говорила о том, как ей ох как несладко. Хотя в бытовом плане проблем не было никаких: прекрасная квартира, машина, деньги. Говорила, что очень любит мужа, но все-таки попала в чужой мир, где многое ей непонятно и чуждо, но менять свою жизнь она не может и, скорее всего, не хочет.

А я рассказывала ей о своей любви, о дырявых сапогах, штопанных колготках, пустой жареной картошке на ужин, о том, что мой любимый и не думает разводиться и что я не нашла общего языка с его детьми. И еще о том, что свою жизнь я не променяю ни на какую другую. Мы долго молча сидели обнявшись и обе горько плакали. Мы поняли, что наша юность и беззаботность безвозвратно ушли и мы стали совсем взрослыми женщинами, каждая со своей непростой судьбой.

На похоронах и поминках всю хозяйничала Катя, тихо и четко давая всем распоряжения – работягам на кладбище, соседкам, накрывавшим поминальный стол и пекшим традиционные блины, – в общем, было ясно, что она здесь хозяйка. Теперь Катя жила в нашей бывшей

с сестрой комнате, и было странно видеть там ее вещи – кружевные, вязанные крючком салфетки, горшки с фиалками, кулинарные книги, портреты артистов на стене. Словом, ее порядок и ее представление об уюте.

– Зажилась она тут у вас, мам, – жестко сказала сестра.

– Что ты! – испуганно всполошилась мать. – Я без нее бы пропала! Все хозяйство на ней – и стирка, и уборка, и магазины. Столько лет она бабушку тянула! А пироги какие печет – отец оторваться не может. Я только Бога молю, чтобы она от нас не ушла, замуж не выскочила. Эгоизм, конечно, но мы без нее пропадем.

– Да не придумывай! – усмехнулась сестра. – Жили как-то и без нее, не пропали. А теперь ее вообще отсюда не выпрешь, прижилась накрепко, – зло добавила она.

В те дни Катя нам постелила в бабушкиной комнате, четко обозначив свое место в нашей семье. Сестра возмутилась, а я миролюбиво сказала:

– Ладно тебе, родители не молодеют, ты далеко, я в своих проблемах... Черт с ней, пусть живет, и матери полегче, да и положила руку на сердце весь воз проблем она тащит на себе. Из нас с тобой помощницы никакие. И мне тоже так спокойнее.

– Нет, – отвечала сестра. – Мне это не нравится, она уже здесь хозяйка, неужели ты это не чувствуешь?

А вскоре тяжело заболела мама. Диагноз оказался страшным и необратимым – рассеянный склероз. Редкое заболевание у женщин после пятидесяти. У нее начали дрожать руки и ноги, она стала слепнуть, а потом и вовсе перестала вставать – развился частичный паралич. Я прибегала после работы, но все уже было сделано – постель чистая, мать подмыта и накормлена, а на плите отца ждал горячий ужин. Катя, как всегда, была сурово-сдержанна, скупа на слова и деловита. Мне она только протягивала заключения врачей и рецепты. Научилась делать уколы. За мать я была спокойна – лучшего ухода и представить невозможно, а к горю и к болезни все постепенно привыкли. Конечно, где-то глубоко внутри точила совесть – при двух здоровых дочерях за матерью ухаживает посторонний человек. Впрочем, посторонней Катя уже не была.

Тяжелая болезнь матери иногда давала передышку. Отец много работал и по понятным причинам старался бывать дома реже. Но ко всему человек привыкает, и постепенно ужас и паника отступили; все привыкли к тому, что мать тяжело больна, и смирились с этим, радуясь временным и коротким улучшениям. Жизнь вошла в свой ритм и потекла уже по другому расписанию.

Прошло четыре года. Однажды вечером я, как обычно, забежала после работы к матери. Она, почему-то шепотом, попросила меня поменять ей постель и вынести судно.

– Катюше это уже тяжело, – объяснила мать.

– Что тяжело? – удивилась я. А когда я увидела Катю, то быстро все поняла.

Живот у нее был, если приглядеться, вполне заметный – месяца на четыре. Мы пили чай на кухне, и я увидела, что лицо ее расцвело коричневым пигментом, припухли губы и нос – словом, все признаки налицо. Я закурила и, помолчав, спросила:

– Замуж собралась?

– Нет, – ответила она. Короче не скажешь.

– Что «нет»? – разозлилась я. – Нагуляла? И где ты с ним, – я кивнула на Катин живот, – жить собираешься? Здесь гнездо совьешь?

Катя молчала.

– Что молчишь? – крикнула я. – Сама пристроилась и с ним, думаешь, не пропадешь. Люди мы хорошие, на улицу не выкинем. Да и куда мы без тебя, пропадем ведь, погибнем, не справимся, – зло иронизировала я.

А Катя молчала.

– Не выйдет у тебя ничего. Может, ты еще прописаться здесь задумала? Не слишком ли много на себя берешь?

– А ты не слишком мало? – наконец ответила мне она.

Но остановить меня уже было сложно.

– Ты что, думаешь, мы сиделку матери не в состоянии нанять? Думаешь, без тебя наша жизнь закончится? Ничего, не помрем, не переживай! – кипела я.

Видеть ее почему-то было невыносимо.

Я зашла к матери:

– Мам, ну что происходит? Ну чему ты потокаешь? Сегодня она родит, а завтра папашу ребенка приведет, алкаша заводского, ты его тожепустишь? Она тут временно поселилась, временно, понимаешь? На черта нам все это надо? Ну, будет полегче с деньгами, найдем медсестру, ты же сама говоришь, что у нее рука тяжелая. – Я бессильно опустила в кресло.

– Остынь, – тихо сказала мать. – Все останется как есть. Пока я жива, я здесь хозяйка. У вас своя жизнь, а у нас тут – своя. И решать это мне.

Я схватила куртку и выскочила на улицу. Во дворе я села на скамейку и попыталась взять себя в руки. Почему-то меня душила злость. Звонить сестре? Что ее тревожить? У нее своя жизнь, двое детей, другой город. Просить ее приехать? Глупо. Надо поговорить с отцом, осенило меня. Я позвонила ему – он, как всегда, был на работе допоздна – и сказала, что сейчас подъеду к нему. Он не удивился и не спросил, в чем дело. Я зашла к нему в кабинет и увидела, что он еще вполне хорош собой, седовлас и строен. И совсем не стар. Господи, подумала я, а ведь ему совсем несладко и совсем непросто.

Возмущаясь и сбиваясь, я твердила, что Катю надо выгонять сейчас, пока она не родила, потом будет сложнее. Нельзя допустить, чтобы из роддома она вернулась к нам, что потом мы не избавимся от нее вовек. И еще я говорила о том, что она внедрилась буром в нашу семью и стала, по сути, в ней хозяйкой и что виноваты во всем мы с сестрой, да-да, я это признаю, так всем нам было проще и удобнее, но пора остановиться, гнать ее, эту змею, которая вползла в наш дом, гнать именно сейчас, потому что потом будет поздно...

Отец ничего не отвечал, только молча курил, стоя у окна спиной ко мне.

– Что молчишь? – выкрикнула я. – Или тебе так тоже удобно и тебя это совсем не касается?

– Касается, – коротко ответил он. Потом, помолчав, добавил: – Мать права, пусть все останется как есть. Ничего изменить нельзя. Мать без нее уже не может.

– А ребенок? – тихо спросила я.

Отец мне не ответил.

Я выскочила из кабинета и пошла прочь. В конце концов, это их жизнь, успокаивала я себя. И их решение. Я не приходила туда два месяца. А что творилось у меня внутри! И злость, и вина, и обида, и все душевные муки, которые только могут быть в беспокойной человеческой душе. Теперь я звонила отцу, узнавала, как мать, и когда наконец решила прийти к ним, попросила отца, чтобы Кати не было дома.

– Она почти не выходит, – объяснил мне отец. – Состояние у нее не из лучших. Так что, если хочешь, приходи, а условий мне не ставь.

Я, конечно, пришла. Мать плакала и гладила мне руки. В коридоре я столкнулась с Катей. Ну почему мне так невыносимо было видеть ее – тяжелую, опухшую, с большим, низким животом? Она опустила глаза и молча прошла мимо меня. Я сидела в комнате у матери, и мы молчали. Потом мать тихо сказала, вернее, попросила:

– Смирись, не мучь себя. Уже ничего не изменишь.

Я кивнула.

Спустя три месяца Катя родила здорового и крупного мальчика. Когда я приходила туда, ребенок мирно спал на балконе. А Катя опять крутилась между ним, матерью и кухней. В ванной висели голубые фланелевые пеленки, а на кухне стояли бутылочки со сцеженным молоком.

– Поди посмотри на мальчика, – тихо сказала мать.

– Мне это неинтересно, – отвечала я.

Болезнь матери уже не оставляла никаких надежд – она все больше дремала, совсем перестала читать и лишь изредка смотрела телевизор. На тумбочке у ее кровати, на дурацкой кружевной салфетке, связанной Катей, всегда лежало на блюде очищенное и разрезанное на дольки яблоко и стоял стакан компота.

В квартире был абсолютный порядок, мать лежала на белоснежном, накрахмаленном белье, и на плите всегда стоял обед из трех блюд. Конечно, я все это замечала и была способна оценить, но сделать шаг и начать общаться с Катей почему-то не могла. Или, положив руку на сердце, не хотела. А мать рассказывала мне, что мальчик чудный и крепенький – тьфу-тьфу. И такая радость, когда Катя приносит его ей в комнату! Ты не переживай, это меня ничуть не беспокоит, наоборот, одни сплошные положительные эмоции.

– А что моя жизнь? – говорила мать. – Лежу, как болван деревянный, столько лет. Ни туда, ни сюда. Не живу и не умираю. Только всех мучаю. И освободить от себя не могу, – плакала бедная мать.

Младенца я увидела спустя полгода – забежав днем к матери. Он сидел в подушках на ее кровати, и она разучивала с ним нехитрые «ладушки». Мать смутилась, увидев меня, а Катя, быстро подхватив ребенка, выскочила из комнаты. Все, что я успела увидеть, – это то, что ребенок и вправду был хорош: гладкий, упитанный, розовощекий, с нежным светлым пухом на голове. Сердце мое сжалось – я была по-прежнему бездетна. Видя мое смятение, мать осторожно завела разговор:

– Чудный мальчик, правда?

– Не знаю, я в них не разбираюсь, – сухо ответила я.

Я покормила мать обедом и засобиралась домой. Вновь видеть ни Катю, ни ребенка мне не хотелось.

Медленно, бульварами, я пошла к своему так называемому дому. На душе было пусто. Период романтики и страсти мы, увы, уже проскочили, и остались лишь убогий быт, неустроенность и вечная нехватка денег. Всю зиму я ходила в осеннем пальто, подшив под него шерстяные платки, и в старых, латаных сапогах. Как следствие – вечно простуженная и раздраженная. Появились обиды и упреки и, конечно, взаимное недовольство друг другом. Я была вполне взрослая женщина, и мне хотелось стабильности, казавшейся мне синонимом счастья, – квартиры, семьи, ребенка, наконец. Наверное, в других обстоятельствах я бы вернулась к родителям, но возвращаться, по сути, мне было некуда. В общем, мне казалось, что я немолодая, тощая и загнанная лошадь, которая, обреченно и понуро опустив голову, бредет, спотыкаясь, по брэнной земле.

А через два года умерла мать – урологический сепсис. Врач, констатировавший смерть, сказал, что причина банальна. И добавил, что мать, слава богу, отмучилась – сколько лет такой страшной жизни. На похороны прилетела сестра, ставшая совсем похожей на восточную женщину – крашенные в медный цвет волосы, черные одежды, крупные бриллианты на пальцах и в ушах.

Прилетела она с младшей дочкой, и девочка быстро нашла общий язык с Катиним сыном – они что-то строили из кубиков на ковре. На кухне опять хлопотала Катя. Сестра внимательно посмотрела на нее и спросила:

– Кого ждешь?

– Мальчика, – одними губами ответила Катя. И быстро вышла из кухни.

На похоронах отец не плакал. Да и кто его вправе судить? Слишком долго и тяжело мать уходила. Человек ко всему привыкает. Все были к этому готовы. Жизнь есть жизнь. Только после поминок, когда мы с сестрой, обнявшись, сидели на мамином диване, он коротко бросил нам: «Помогите Кате». Я стала убирать со стола, а сестра пошла укладывать спать дочку. На кухне Катя мыла посуду.

– Ловко у тебя все получается, – усмехнулась я. – Теперь власть переменялась. Я-то тебя быстро выставлю, не сомневайся. Я не такая добренькая, какой была мать.

Катя развернулась ко мне и, глядя мне в глаза, твердо произнесла:

– Не выставишь, не надейся.

– Ну, это мы еще посмотрим, – пообещала я.

Катя вздохнула, вытерла о передник руки и достала из кармана конверт.

– Читай, – коротко бросила она.

Я открыла конверт и увидела листок из школьной тетрадки в линейку, исписанный крупным и кривым, словно детским, почерком. Я начала читать:

Девочки мои! Не решалась сказать вам раньше – так мне легче.

Примите Катю и ее детей. Это – ваши братья. Не осуждайте отца – так сложилась жизнь. Катя ни в чем не виновата. И никто ни в чем не виноват. С квартирой, думаю, разберетесь по-людски. Там же ваша доля тоже. Катя продлила мне жизнь. Хотя она была мне уже не очень-то и нужна. Но есть как есть. Решите все миром. Писать тяжело. Постарайтесь быть счастливыми. Очень вас прошу.

Мама.

Я долго держала в руках этот тетрадный листок, пытаюсь понять. Сколько я просидела на кухне на табуретке и как вышла в холодную московскую осень, не помню. Отцу я не звонила долго, видеть ни его, ни Катю не хотелось. Да что там не хотелось – видеть я их просто не могла.

Потом изменилась и моя жизнь. Я познакомилась с человеком, от которого веяло спокойствием и надежностью. Был он математик и бельгиец по происхождению. Человек от точной науки, четко объяснивший мне всю перспективу нашей с ним дальнейшей жизни без божьего налета и неопределенности, от которых я очень устала, – где мне все было предельно понятно. Я вышла за него замуж, и мы засобирались на его родину.

Отцу я позвонила перед отъездом, за час до выезда в аэропорт, таким образом заранее отрезав себе пути к встрече. Говорили мы сдержанно и смущенно. Я спросила его о здоровье и доложила минимальную информацию о себе. В трубке я слышала детские голоса.

– Напиши хоть когда-нибудь, – дрогнувшим голосом сказал он напоследок.

В Москве я не была несколько лет, жизнь моя сложилась так, как я уже и не ждала, – жили мы дружно и тихо, наслаждаясь покоем и друг другом. Детей я так и не родила. С сестрой мы часто и подолгу общались по телефону – для меня это, слава богу, было доступно. И однажды решили приехать в Москву – повидаться и навестить могилу матери.

Мы заказали один отель и поселились в соседних номерах. Наутро поехали на кладбище. Мы стояли возле ухоженной могилы и молчали. Думаю, мы обе просили у мамы прощения. Ведь если бы все сложилось по-другому, ей бы не пришлось пережить всего, что она пережила. Если бы мы, ее дочери, были все годы рядом с ней. Мы, а не чужой человек, хотя, что греха таить, это нам было очень удобно. Это потом мы стали искать виноватых. С кладбища мы шли молча, а когда сели в такси, я назвала водителю адрес старой родительской квартиры.

Дверь нам открыла Катя – точно такая же, как много лет назад, только слегка расплывшаяся. Несколько минут мы смотрели друг на друга, потом я сказала:

– Чаем напоишь? Мы жутко промерзли – совсем отвыкли от московских зим.

Катя словно очнулась и мелко закивала. Мы разделись и зашли в дом. Из комнаты вышел постаревший отец и беззвучно заплакал, прислонившись к дверному косяку. Мы обнялись втроем. Катя накрыла стол в комнате, и за него сели двое симпатичных мальчишек. Я подошла к ним и по очереди обняла их. Испуганные, они сидели тихо-тихо. Отец курил и молча наблюдал за нами. А потом вздохнул и сказал:

– Ну, слава богу, вся семья в сборе. Садимся обедать!

Лучше не скажешь – вся семья в сборе. Ничего не попишешь – такая теперь вот у нас была семья. И слава богу, что у нас хватило ума с этим смириться. Принять этот непростой пазл, который сложила жизнь и выкинула нам. Так, как было необходимо и мне, и сестре, – сейчас мы это понимали наверняка. И нашему отцу. Найти в себе силы начать со всем этим жить. Жить, чтобы жить, – и постараться быть счастливыми. Как просила нас мама.

## Прощение

– Готовьте документы в хоспис, – резко сказала Лина и отвернулась к окну.

Врач тяжело вздохнул и покачал головой.

– Осуждаете? – зло усмехнулась Лина.

Врач пожал плечами:

– Просто каждый человек имеет право умереть в своей постели.

– Вы в этом уверены? – спросила она. – Впрочем, что вы знаете о моей жизни? Хотя осуждать и быть абсолютно уверенным – это привилегия юности. Вы еще слишком молоды.

– Слишком для чего? – Этот молодой парень был не промах.

Лина устало махнула рукой и не прощаясь вышла. Погода заставила застегнуть куртку и надеть капюшон. На асфальте лежали тяжелые от дождя бурые листья. Октябрь.

Лина посмотрела на часы и заторопилась к остановке.

Надо было заехать на работу, забрать документы, заскочить в магазин – в холодильнике пусто. Она вспомнила, что на четыре записана в парикмахерскую, и решила, что обязательно туда пойдет. Гори все огнем! Впрочем, и так вся ее жизнь сейчас занялась колючим, злым, с синими языками пламенем.

«Опять я по уши вляпалась в чужие проблемы», – раздраженно подумала она.

В том, что проблемы были чужими, она была твердо уверена. Только надо сделать так, чтобы это все прошло по касательной. Надо постараться. Иначе не выдержит. И потом, это все справедливо: каждому по делам его, по заслугам. Как свойственно человеку, считающему себя бескомпромиссным, Лина свято верила в торжество справедливости. Хотя какое уж тут торжество?

В парикмахерской она сильно нервничала и смотрела на часы. В который раз отругала себя за это.

В доме пахло болезнью. Нет, не так. В доме отчетливо пахло смертью. Это был неуловимый запах, который невозможно объяснить, – запах беды и страданий, запах безнадежности и отчаяния.

Она бросила на стул куртку, сняла сапоги и пошла в ванную мыть руки. Потом зашла в его комнату. Он лежал с открытыми глазами и смотрел прямо перед собой. В стену.

– Есть будешь? – спросила Лина.

Он не ответил. Она вышла из комнаты и закрыла дверь. «Обида сильнее жалости», – подумала она. В семь должна приехать Марина.

Лина сварила кофе, села с ногами на диван и закрыла глаза.

Поженились они тридцать лет назад. Ему – двадцать пять, ей – двадцать. Встретились в одной компании – и Лина сразу потеряла голову. В нем была харизма. Впрочем, тогда этих слов не знали, тогда это называлось «клевым парнем». Он и вправду был клевый – высокий, поджарый, длинноногий. Светлые волосы, серые глаза. В глазах усмешка: «все я про вас знаю». Девушки не давали ему покоя.

Она сидела в кресле и смотрела на то, как он танцует с какой-то красоткой. Красотка положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Он оглядывался по сторонам. Было видно: до красотки ему нет никакого дела. Танец кончился, но девушка продолжала стоять, не открывая глаз. Он рассмеялся и взял ее за плечи.

– Эй! – сказал он. – Проснись!

Девушка открыла глаза и с затуманенным взглядом села на диван.

Он взял гитару и запел.

У него был низкий, чуть с хрипотцой голос. Голос, которым хорошо петь и Высоцкого, и Окуджаву, что он и делал. Было видно, что про себя он знал все.

– Мне надо на кого-нибудь молиться, – пел он и смотрел на Лину.

Лина была тоненькая и напряженная, как струна. Челка по брови, черные глаза, упрямый рот. Ничего особенного. Но почему-то она отличалась от всех остальных. Он это почувствовал. Потом взяла гитару лохматая толстая девочка и дивным голосом запела:

Когда б мы жили без затей,  
Я нарожала бы детей,  
От всех, кого любила,  
Всех видов и мастей.

У Лины выступили на глазах слезы, и она вышла на кухню. Она стояла у окна и смотрела в черную январскую ночь.

– А вы, – услышала она за спиной, – вы бы так смогли?

Она обернулась.

Он стоял в дверном проеме и курил. Он даже курил красиво.

– В каком смысле? – не поняла Лина.

– В смысле того, что от всех, кого любила. Всех видов и мастей, – улыбнулся он.

– Ну, это зависит... – протянула она.

– Смелости хватит? – поинтересовался он.

– Главное, чтобы хватило кандидатов и средств, – в тон ответила Лина.

– Ну, с кандидатами, я думаю, проблем не будет. А что касается средств, то песня не об этом.

Он посмотрел в потолок и выпустил тонкую струйку дыма.

– Хорошо, что объяснили, – кивнула Лина.

– Ну, не сердитесь, – улыбнулся он. – И вообще, я предлагаю вам отсюда сбежать.

У нее екнуло сердце. Ерничать дальше не было смысла. Она кивнула.

На улице началась метель, но почему-то было очень тепло. Они быстро шли по белой мостовой. Он взял ее за руку. Потом, когда куртки и волосы совсем промокли от снега, они зашли в подъезд, и он достал из внутреннего кармана прихваченную с вечеринки початую бутылку вина. Он сделал глоток и протянул бутылку ей.

– Господи, как романтично! – съязвила Лина.

– Когда-нибудь ты будешь это вспоминать. Вспоминать с удовольствием, даже с радостью, – отозвался он.

Ей показалось, что он знает про эту жизнь гораздо больше, чем она. Она села на подоконник, сняла мокрую куртку и сделала несколько глотков из бутылки. Сразу стало тепло и немножко закружилась голова. Он взял ее лицо в свои ладони, начал томительно, уверенно и долго целовать, и в эту минуту она поняла, что пропала окончательно.

Потом все произошло довольно быстро. На следующий день днем он приехал к ней – родители были на работе, все и случилось. Ждать и держать «лицо» было невозможно.

Так она влюбилась в первый раз. Ничего подобного Лина не испытывала никогда ранее – и все остальные романы и романчики перечеркнулись сразу и навсегда, как не было.

Он был прекрасен. Он был нежен, тонок, терпелив, он угадывал ее самые потаенные желания, он чувствовал ее самые темные, неведанные прежде ей самой закоулки души и тела, он читал стихи, жарил картошку и гладил ее гофрированную юбку. У нее не получалось, у него – всегда.

Он нравился ее отцу – они вместе в гараже перебирали карбюратор старенькой отцовской «Волги». На день рождения ее матери он принес белые розы – невиданная роскошь по тем временам. И все же мать с прищуром разглядывала его. Для нее все не было так однозначно.

– Слишком хорошо, – заключила она. И добавила: – Слишком.

Через три месяца Лина залетела.

Она позвонила ему поздно вечером и сообщила новость.

– Ну, и какие мысли? – весело поинтересовался он.

– Ищи врача, – сказала Лина.

– Ты спятила? – удивился он. И твердо добавил: – Будем рожать.

Свадьба была в кафе у метро. Дурацкая, как обычно, пьяная и бестолковая. Лину здорово тошнило.

После свадьбы жить стали у его матери. Это было удобно: мать работала поварихой в экспедициях, на полгода уезжала «в поле» – они были предоставлены сами себе. Лина писала диплом. Он работал в КБ. Родители Лины подкидывали денег. Жить было можно, хватало на киношку и на кафешку, но почему-то было нерадостно.

Уже тогда Лина почувствовала, что что-то не так. Нет, он был по-прежнему нежен и предупредителен. Он по-прежнему жарил картошку, мыл полы и ходил в магазин. Все было как всегда. Кроме одного: он перестал с ней спать.

Она сказала об этом матери. Мать объяснила, что такое бывает.

– Ты изменилась, а мужики – большие эстеты, – с усмешкой сказала мать. – Подожди, родишь, и все наладится. Только не распускайся и следи за собой!

Через пару недель раздался звонок.

Та женщина говорила медленно, с расстановкой. Называла Лину дурочкой и глупышкой. Ласково так называла. Потом смеялась хрустальным смехом:

– Ты думаешь, он ходить ко мне перестал хоть на неделю?

Она предлагала Лине вспомнить его вечерние отлучки по числам. Лина чисел не помнила, но почему-то сразу поняла, что это правда. Все правда.

– Что вы хотите? – тихо спросила она.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.